

Константин Тарасов

ОТСТАВКА ШТАБС-КАПИТАНА

Предисловие

Писать предисловия — дело неблагодарное, мало кто утруждается прочесть их далее первого абзаца; но иногда без предисловия совершенно не обойтись — оно бывает необходимо, как дверь в избу. Предлагаемые читателю записки штабс-капитана Степанова — такой случай.

События, о которых рассказывает автор, происходили осенью 1863 года, когда в белорусских губерниях свирепствовали карательные суды, искореняя дух восстания и физически уничтожая его участников. К военным акциям усмирения были привлечены и войска гвардейского отряда; к ним относилась конно-облегченная батарея, где служил штабс-капитан Степанов.

Описание всех перипетий происшествия — отнюдь не дневник; запись сделана по прошествии пяти лет, и хоть штабс-капитан старается передать именно то свое состояние, какое владело им в сентябре 1863 года, ему это не удается — переосмысленное отношение чувствуется на многих страницах.

И еще несколько слов о записках. Они попали ко мне случайно; обстоятельства, при которых это произошло, никому, на мой взгляд, не интересны. Благодаря кожаному переплету, хорошему качеству бумаги и чернил рукопись, написанная намного более века назад, от времени не пострадала — лишь листы пожелтели, да чернила изменили свой черный цвет на серебристый, да первые шесть страниц были выдраны чьей-то легкомысленной или злой рукой. Что было на этих страницах? Скорее всего, обстоятельное описание начала похода: приказ по дивизии, замена и ковка лошадей, подгонка снаряжения, смотр, погрузка в эшелон на Варшавском вокзале в Петербурге.

Никаких изменений в текст я не вносил, если не считать орфографической правки и некоторых необходимых пояснений.

А сейчас, читатель, присоединимся к батарее, которая в ясный день бабьего лета совершает очередной переход по проселочной дороге где-то в Новогрудском уезде Минской губернии...

I

В пятом часу вечера мы достигли большой православной деревни, и батарейный командир приказал ставить орудия в парк¹.

Ездовые стали сворачивать упряжки на выгон; фельдфебель и взводные фейерверкеры поскакали к старосте определять квартиры, туда же отправился интендант, а следом

— офицерские денщики; кузнец, весь день дремавший в своей линейке, теперь готовился к работе; лошади, предчувствуя отдых и корм, радостно ржали; солдаты весело спешили, а навстречу нам приветливо зазвонил колокол деревенской церкви.

Я и мой взводный прапорщик Васильков, этого года из училища, бог знает за что полюбивший меня, как старшего брата, поехали по деревне. Хаты ее большей частью были курные, дворы убогие, сады маленькие, свиньи худые и резвые. Редко в дверях стояла баба или старуха, нигде не было видно мужчин и молодежи, только ребятишки жались к плетням и с удивлением нас разглядывали.

У ворот церковки нас встретил старый поп. Ну, не миновать какой-то беды, подумал я, припоминая приметку. Мы с ним поздоровались. «Здравствуйте и вы, офицеры, — радостно отвечал старик. — Бог вам в помощь!» — «А что, батюшка, — спросил Васильков, — слышно ли у вас о мятежниках?» — «Нет, не слышно, — отвечал поп. — Весною, было, сколотилась шайка, но на троицу казаки ее разогнали. С тех пор спокойно... Если вы квартироваться ищете, то прошу ко мне. Дом большой, мы вдвоем с матушкой, места хватит всем...»

— И здесь нет повстанцев, — печально произнес Васильков, когда мы продолжили путь. — Этак мы останемся без дела.

— И хорошо, — отвечал я. — Ты ведь артиллерийский офицер, а не казачий. Какая нам честь стрелять в толпу. Инсургенты дробовиками вооружены, а у многих, говорят, и

того нет — одни пики. В таком бою артиллеристу славы нет — это убийство. Вот в битве при Ватерлоо английская артиллерия расстреляла французов в упор и покрыла себя позором. Поэтому помолись, сударь, чтобы нам такого сраму избежать...

Васильков задумался, раздваиваясь, верно, в душе между честью и желанием отличиться в жаркой схватке, какую его неопытность рисовала в противоположном истине виде.

В молчании проехали мы до крайней хаты; дальше лежали поля, холмы, начинался лес, в котором исчезала бурая лента дороги. Посередине между деревней и лесом стояла корчма, и к ней мы поскакали.

Еврей-корчмарь, слышав топот, вышел на крыльцо, а увидав мундиры, кинулся нам навстречу в ворота и стал кланяться и зазывать в дом. Куча детских лиц подглядывала в окно нашу встречу.

— Если к вам зайдут солдаты, — сказал я строго, — не вздумайте продавать им водку.

Корчмарь стал клясться, что сей же час запрячет водку в погреб, под большой замок, где ее и черти не найдут, а он просит господ офицеров посмотреть, как это будет выполнено, пусть они войдут в дом и увидят своими глазами его усердие. Завороженный этой болтовней, Васильков готов был спешиться и следовать за хитрым хозяином, чтобы в духоте грязной корчмы заплатить втридорога за рюмку дряннейшей водки.

Но тут из лесу вынеслись кони, коляска и клуб пыли за ней. Корчмарь приставил козырьком руку, взгляделся зоркими глазами и, нечто для себя важное определив, выдвинулся

вперед. Коляска приблизилась и пронеслась мимо. В ней сидели господин лет пятидесяти, юная красавица (Васильков, я заметил, с одного взгляда насмерть в нее влюбился), а напротив них молодой человек со скрещенными на груди руками. Все трое имели сердитый, мрачный вид, словно их только что в лесу ограбили и в придачу надавали пощечин. Никто из них не взглянул в нашу сторону, только кучер-лакей окинул спесивым взглядом и, верно, мысленно огрел нас длинным своим кнутом.

Корчмарь, хоть путники его вовсе не заметили, счел должным низко поклониться и глотнуть поднятой колесами пыли.

— Это кто? — спросил я, когда он разогнул спину.

— О! — воскликнул корчмарь. — Это пан Володкович.

— А красавица — его дочь? — поспешил узнать Васильков.

— Его, его, — подтвердил корчмарь. — И его младший сын. Володкович — о! это богатый пан. Пятьсот душ имел до реформы. А если дочь выйдет замуж, он станет еще богаче.

— Как же такая прелесть не выйдет замуж? — хмурясь, сказал Васильков.

Корчмарь пожал плечами:

— Может быть, и не выйдет. Разве люди решают? Бог решает. Только бедные не могут стать счастливы, а богатые могут быть несчастны. Да. И я был богат, потому что был сыт и имел сытыми детей, а теперь последний нищий богаче меня — он ест свое, а мое едят люди...

— И жених у нее есть? — спросил Васильков.

— Есть, есть жених, — с непонятною радостью сообщил корчмарь, чем глубоко опечалил моего юного приятеля.

— Ну, если корчма в убыток, — сказал я хозяину, — разве трудно ее продать и заняться другим делом?

— Продать! Продать легко, — ответил корчмарь. — Я за одну минуту ее продам. Только это все не мое. Это господина Володковича. Я арендую за двести рублей. За двести рублей! — повторил он. — А где их взять? Мужики много пьют — пристав грозит тюрьмой. А кроме водки, им ничего не надо. У них все с собой — и хлеб, и лук. Убытки, одни убытки. О, зачем мой отец не завещал мне кузницу!

Причитания прибеднявшегося корчмаря, однако, не вынудили меня подарить ему рубль. Я подумал, что и мое положение ничем не лучше. Приведись мне завтра снять мундир — некуда будет деться.

— Не стоит унывать, — сказал я и тронул Орлика.

Васильков тоскливым взглядом провожал экипаж, въезжавший в деревню. Сколько грустных минут доставит ему эта дорожная встреча, милое девичье личико, надменно не заметившее гвардейского прапорщика, сколько пустых мечтаний родится и умрет в его сердце, пока эту призрачную любовь не раздавят колеса другого экипажа, проносящего мимо следующую красавицу.

II

На деревенской улице нас встретил мой денщик Федор.

— Ваше благородие, я вам квартирку подыскал. На

отшибе, мельников дом. Поедете смотреть?

— Я тебе вполне доверяю, — ответил я. — Только покажи, где стоит. А что денщик прапорщика?

— Ихнего благородия денщик за фельдфебелем тягается, и вообще, он не денщик, а шалопут.

— Что же мне с ним делать, — смутился Васильков. — Разве бить?

— Ну, зачем. Воспитывать. Вот мы с Федором друг друга с полуслова понимаем.

— Так мы, Петр Петрович, уже семь лет вместе, — с гордостью отвечал Федор. — С самого Севастополя. Но сказать правду, так и в первые дни я вас не подводил.

Обогнув каменную ограду церкви, мы узкою дорогой между соседних плетней проехали за огороды. Тут дорога недолго пошла олешником, и по выезде из кустов сразу увиделся мельников дом.

Мы спешили и вошли в сени; две двери были здесь: левая — в камору, правая — в комнату, и эту дверь Федор отворил.

Высокий, сутулый старик сидел на лавке у крохотного окна.

Я поздоровался.

— Добрый день, — неприветливо ответил старик. — Такая вот моя хата. Может, грязно, так некому убирать — хозяйка моя умерла, дочки замужем, сыны разошлись по белому свету...

Я осмотрелся. В противоположность словам старика изба

показалась мне чистой. Глинобитный пол был выметен, посуда стояла на полке аккуратно, на образах висело свежее полотенце, полати были задернуты чистым холстом.

Старик внимательно за мной наблюдал. Я чувствовал, что мое пребывание ему нежеланно, но кому приятно, подумал я, непрошенные постояльцы. Ночь-две переночую, с него не убудет. Еще и уплачу. Видно, привык к одиночеству, вот и противится незнакомцу.

— Я вам не помешаю, — сказал я. — Привези мои вещи, Федор.

— Живите, — нехотя согласился старик.

Мы вышли из избы и поехали в деревню. У ворот поповского дома офицеры, окружив подполковника Оноприенко, что-то весело обсуждали.

— А вы кстати, штабс-капитан, — сказал Оноприенко. — Тут проезжал местный помещик, некий Володкович, весьма любезный человек. Он приглашает нас в свою усадьбу, на ужин. (И с ним дочь — чудо красоты! — добавил поручик Нелюдов.) Каково, Петр Петрович, будет ваше мнение: ехать или отказаться?

Счастливым вид прапорщика Василькова подсказал мне ответ:

— Отчего же не ехать. Эти помещики — большие хлебосолы. И все-таки развлечение.

— Но есть некоторая трудность, — улыбаясь, сказал подполковник. — Я тоже не против поездки, и вы все, господа, хотите ехать, но батарея не может остаться без офицеров.

Будет справедливо, если полубатарейные командиры бросят жребий — кому быть здесь.

Полубатарейными командирами были я и поручик Нелюдов. Мне не хотелось ехать к Володковичам, я наперед представлял скуку вежливой беседы, нелепый шум застолья, обжорство, тосты, комплименты смазливой барышне, наутро головную боль, и любому другому офицеру я уступил бы право на поездку добровольно. Но поручик Нелюдов мне не нравился — он был самолюбив, попал в артиллерийскую батарею по ошибке, настоящее его место было в драгунском эскадроне, где офицеру достаточно умения ездить верхом, махать саблей и пугать голосом солдат, — делать ему подарок я счел за лишнее. Нелюдов вынул гривенник, загадал орла, ловко подбросил монету вверх — она выпала решкой, и офицеры шутливо выразили поручику свое сочувствие. Нелюдов же впал в печаль, словно лишился не ужина бог знает у кого, а большого наследства. Васильков же, наоборот, сиял, будто ему предстояло помолвиться с панной Володкович.

В начале восьмого лучший ездовой Еремин подал к поповским воротам командирский экипаж. Уже ждал нас верховой от Володковича показывать путь. Подполковник Оноприенко в мундире с эполетами, при орденах и шпаге был очень представительен, и мы все выразили удовольствие отличным видом своего командира, что прибавило ему настроения. Возможно, поэтому, ступив в экипаж, он распорядился о выдаче солдатам к ужину водки. Потом подполковник предложил мне оставить коня и ехать вместе с

ним в экипаже, от чего я в любезной форме, но решительно отказался, не желая быть связанным. Тотчас в экипаж попросился наш батарейный лекарь Шульман, воспринимавший верховую езду, как род изощренной пытки.

Командир подал знак, и наша маленькая кавалькада тронулась в путь: впереди помещичий верховой, потом экипаж, затем мы — пятеро офицеров. Нелюдов провожал нас завистливым взором.

Проскакав полторы версты, мы свернули на лесную дорогу, по которой шли довольно долго до развилки, отмеченной высоким крестом. Тут проводник повернул налево, и скоро лес кончился. Мы ехали по широкой аллее, обсаженной старыми кленами, уже начавшими желтеть. Нарядная решетка в каменных воротах, замыкавших аллею, была открыта. Миновав их, мы увидели помещичий дом и группу людей на ступенях подъезда, а по флангам стояли два лакея с факелами. Господин Володкович нечто выкрикнул, лакеи наклонили огни к земле, и две маленькие мортирки изрыгнули в нашу сторону пламя, дым и гром.

III

Дом господина Володковича — по восемь окон от крыльца в каждую сторону, в средней части двухэтажный, покрашенный в зеленый и белый цвета, крытый гонтом — на мой вкус, вкус бедного офицера, был настоящий дворец. Не скрою, в моей душе пробудилась сильная зависть. Вероятно, и все мои товарищи испытывали такое же чувство, исключая,

может быть, прапорщика Василькова, глаза которого замечали лишь предмет своего восхищения.

Командир и лекарь вышли из экипажа, мы спешили, слуги увели наших лошадей. Господин Володкович представил свое окружение: дочь Людвига, сын Михал, жених дочери — помещик Николай Красинский. Все Володковичи были любезны, подтверждая выражением лиц старинную поговорку, которую произнес с чувством владелец усадьбы — «Гость в дом, бог в дом!».

Затем подполковник Оноприенко представил нас по старшинству чинов, сказал необходимые комплименты, и нас повели в дом, в гостиную. Здесь нас рассадили на канапки, и господин Володкович открыл беседу, заявив, что рад приветствовать гвардейских офицеров не только как хозяин дома, но и как бывший офицер, участник Кавказской кампании. Годы службы — лучшие годы его жизни, сказал он, а военные приключения и встречи в горах и ущельях Кавказа, этого, выражаясь словами поэта, «сурового царя земли», неизживны из памяти. Как не благодарить бога за жизнь в офицерской семье, которая подобно цементу скрепляет дружбу мужских сердец! Как не быть признательным судьбе за знакомство с одним из лучших сынов России — Михаилом Лермонтовым...

Тут, конечно, господину Володковичу отвечал наш единомушный возглас удивления.

— Да, да, — продолжал Володкович, довольный действием своего рассказа. — Не скажу, что был дружен, этого не было, а привирать мне совестно, но был знаком, и случилось

даже, вместе играли, и Лермонтов оказался в выигрыше, что, вообще-то, с ним бывало редко.

— Может, господин Володкович знал и Мартынова? — спросил кто-то из офицеров.

— Да, — отвечал хозяин, — знал и грешного поручика Мартынова. Не хочу чернить всех кавалергардов², но те из них, что встречались мне, были пустые люди, и таково, полагаю, большинство в этом полку (офицеры одобрительно закивали); из этого числа был и Мартынов. До сих пор не перестаю удивляться одному: зачем Михаил Юрьевич согласился вести дуэль на пистолетах. По рассказам, он хорошо владел саблей и в бою был хладнокровен, что дает фехтовальщику половину успеха. На пистолетах любой неумеха может попасть в противника, ведь пуля — дура. Холодное же оружие полностью исключает случайность...

— Однако, — вдруг сказал Васильков, глядя на панну Людвигу, — в дуэли на пистолетах есть то, чего не дадут ни палаш, ни шпага, — ощущение рока...

— Не то важно, — вмешался Красинский, — а скучно на пистолетах. Спустил курок — и вся дуэль. Никаких переживаний. Я сам умею фехтовать, и на саблях — это ведь наслаждение. Двигаться надо, думать. Интересно!

— А я, господа, — весомо сказал наш командир, подполковник Оноприенко, — придерживаюсь такого взгляда, что за дуэли надо строжайшим образом наказывать и самих дуэлянтов и в большей степени секундантов и докторов (тут он строго посмотрел на взводных офицеров и еще строже на

лекаря). Вот эти и есть подлинные убийцы. И, господа, что за честь? И где храбрость? Другое дело, в пороховом дыму сражения, среди множества неприятеля сохранить стойкость своего подразделения, его организацию и боевой дух, будучи раненым, оставаться в строю, личной отвагой являть образец нижним чинам... Вот приведу вам живой пример, — взгляд командира остановился на мне: — Гордость нашей батареи, георгиевский кавалер; убежден, что бог даст штабс-капитану случаи иметь на груди полный бант

— Смущаясь похвалой, — ответил я, — хочу сказать, что всегда расценивал награждение меня крестом святого Георгия как оценку мужества всех канониров моего взвода, врученную мне по старшинству чина. Немудрено быть храбрым в среде храбрых, а в Севастополе все были храбрецы...

К моему удовольствию, внимание от меня отвлеклось, потому что вошел слуга, встречавший нас в роли бомбардира.

— Что, Савось? — спросил Володкович. — Ваша милость, едет Лужин, — отвечал слуга, — уже в воротах.

— Господа, — обрадовался Володкович, — сейчас нашей компании прибудет. Прошу извинить, что на краткий миг мы должны вас покинуть.

Все Володковичи и жених Людвиги поспешили выйти навстречу новому гостю.

Офицеры, пользуясь свободой, стали обмениваться впечатлениями. «Живут же люди!» — вздыхал один. «Вот, господа, расквартироваться бы здесь на осень и зиму», — мечтал другой. «Любопытный, однако, человек этот

Володкович», — говорил наш командир. А мне хотелось сказать: «Вернемтесь лучше, господа, в батарею. Ей-богу, попадем в историю».

Почему из нас — семи человек, прибывших к Володковичам, — ощущал близкую неприятность я один (и правильно ощущал), не могу объяснить и сейчас, но прошествии пяти лет.

Вообще, механизм предугадывания, подобно любым сложным навыкам, требует упражнения. Скольких бед избежали бы люди, если бы научились доверять неясным сигналам души. Древние понимали это лучше нас и имели прорицателей. Должность избавляла оракула от того, что обязательно требуем мы, — от необходимости разумно объяснять свои чувства. Никто не осмеливался приставать к нему с вопросом: «Почему ты это чувствуешь, если не чувствую я?» Такова была его задача. А в наши дни мы не только к чувствам других, но и к собственным чувствованиям относимся со скепсисом, считая должным разглядывать незримый эфир по правилам аналитики. В силу такого заблуждения я, слушая реплики товарищей, стал объяснять себе внутренние сигналы чувством неловкости. Впрочем, для проверки своего состояния я повернулся к Шульману и спросил: «Вам не скучно, Яков Лаврентьевич?» — «Скучновато, — ответил лекарь, — но скоро за стол позовут, тогда и развеселимся». Слова эти показались мне убедительными.

Через несколько минут хозяева возвратились, введя в залу нового гостя столь резко неприятной наружности, какую

только и могут иметь чины полицейской или жандармской службы. Это был господин среднего роста, полулысый, худой, но с животиком, хилый, но с румянцем, с улыбкой заискивающей и в то же время наглой, с печатью на всем облике, оповещающей, что пред вами — полный негодяй.

— Уездный исправник Лужин Афанасий Никитович, — назвал гостя Володкович, и я поздравил себя с тем, что не ошибся в профессии приезжего.

— Мы, Афанасий Никитович, минуту назад говорили о дуэлях, — доложил исправнику хозяин. — Интересно, каково ваше — представителя власти — мнение об этом предмете?

— Дуэль есть богопротивное, уголовное наказуемое действие, — изрек Лужин. — Но в нашем уезде, слава богу, этот порок привычки не получил. Вообще, дворянство нашего уезда и в политическом, и в нравственном отношении является положительным и перед другими лучшим. Хотя, — исправник развел руками, — и у нас имеются исключения, что засвидетельствовали печальные события этого года. Десятка два местной шляхты, поддавшись безумной пропаганде, сколотились в партию, позволили себе выступить против правительства, таились в лесу, ранили пристава, пугали местное население, волновали крестьян... Ну, и пришлось прибегнуть к помощи казаков. С казаками, скажу по правде, я не люблю иметь дело — звероватый народ. В армейских подразделениях несравненно лучшая дисциплина... Как-то шайка ночевала всем скопом на гумне — казаки выследили, окружили, дали залп, второй и ворвались в гумно с шашками... Что, господа, там

было, не при деде рассказывать...

Несколько мгновений в гостиной стояла гнетущая тишина, словно присутствующие увидели порубленных мятежников и молились за их души.

— Погибли сами, — вздохнул исправник, — а сколько страданий доставили родным. Усадьба Матушевича конфискована, на Голубовского и Бычилу наложен секвестр, десяток семей уже отправлены во внутренние губернии. Ах, безумцы, потерять права и имущество... И ради чего?.. Извините, господа, извините, панна Людвиг, — вдруг спохватился Лужин, — что посвящаю вас в неприятности местных дел. Но, как говорится, у кого что болит, тот о том и говорит.

— Если господам будет интересно, — сказала панна Людвиг, — я могу показать наши пруды и парк.

Это были ее первые слова за вечер.

IV

Все поднялись и возглавляемые юной хозяйкой вышли из дома через тыльную дверь. Парк примыкал к дому. Наша молодежь, окружив панну Людвигу, слушала ее рассказ о достоинствах деревьев и кустов. Я объединился в компанию с Шульманом и младшим Володковичем. Позади нас шли хозяин, наш командир и исправник Лужин, их разговор нас доставал.

— А что, Эдуард Станиславович, — спрашивал исправник, — я не вижу вашего старшего, умницу Северина?

— Да вот часа два назад ушел куда-то бродить, — сказал

Володкович. — Эх, — вздохнул он, — просто беда господ. В сестру приятеля влюбился насмерть. Она, как все девицы, куражится... (Молодость, молодость! — говорил исправник.) Вот ездил в Киев, предложение сделал, — продолжал Володкович, — отказала, негодница. Парень — в кручину. Лежит, грызет трубку или бродит по парку, как замороженный... Я говорю: Северин, да если она тебе отказала, так, верно, умом редко живет, недостойная тебя. Ах, Афанасий Никитович, увидите его, хоть вы найдете убедительные доводы.

— Обязательно скажу, — отвечал исправник, — раз вы просите. Судьба Северина мне небезразлична.

Михал увлек нас в боковую аллею предложением посмотреть чудо природы. И вправду, мы увидели редкое явление. Две ели, выросшие в тесноте, переплели свои стволы в косу — было трудно проследить, какая вершина какому комлю принадлежит.

— Прелестное место для влюбленных, — заметил я. — Сама природа демонстрирует им образец поведения.

Михал улыбнулся:

— Да, моя сестра любит проводить здесь вечера.

— Вы где-нибудь учитесь? — спросил я.

— Проучился два курса в университете, — ответил Михал, — и оставил. Хочу получить специальное образование. Агрономическое. Возможно, поеду в Берлин. Мой брат увлекается химией, он не станет вести хозяйство, а мне нравится... Вы не обижайтесь, но не могу себе представить, как

можно посвятить жизнь военной службе?

— У каждой профессии свои радости, — отвечал я. — Приведись мне жить помещиком, я наверняка через неделю умер бы от тоски.

— А я — через три дня, — сказал Шульман.

— Сердце нашего лекаря наполняется любопытством лишь в одном месте, — пояснил я Михалу, — в анатомическом театре.

— А также возле операционного стола, — дополнил Шульман. — Все остальное, господа, поверьте мне, лишено интереса.

Аллея привела нас к двум прудам, разделенным плотиной. Один был продолговатый, с чистой водой, с поставленным на столбах красивым птичником. Вокруг него лениво плавали два взрослых лебедя. Компания, от которой мы прежде отсоединились, стояла на берегу, восхищаясь благородством прирученных птиц. Второй пруд, идеально круглый, был обсажен ивами; ряска плотно покрывала его зеркало; на воде, но вплотную к берегу, стояла ажурная беседка.

— А это наше любимое место уединения, — сказал Михал.

Я признался, что и ряска, и запах тины, и круг ив мне очень нравятся. Шульман тоже сказал, что здесь он прожил бы вдвойне больше, чем назвал раньше. Тут панна Людвига привела в беседку остальное общество, и некоторое время все провели в полном молчании, как к тому обязывало очарование уголка.

Скоро господин Володкович пригласил нас в дом.

V

В столовой горели подвесные лампы. Стол был накрыт и производил ошеломляющее впечатление.

Невольно я посочувствовал одинокому Нелюдову. Нас рассадили; два места остались незаняты: возможно, пояснил хозяин, спустится к ужину старший сын Северин, а второй прибор, по обычаю, ждет случайного гостя.

Господин Володкович поднял бокал и предложил выпить за здоровье государя. К звону хрусталя примешался хриплый звон столовых курантов — стрелки на белом циферблате показывали половину девятого.

Тост следовал за тостом, и скоро свободная веселость овладела всеми, если не считать зачарованного Василькова и Михала, не склонного к веселью, видимо, в силу своего агрономического ума. Оба, к сожалению, были мои соседи. Напротив меня сидел исправник Лужин, не умеющий, как и все полицейские нашей империи, рассказывать ничего другого, кроме случаев непослушания и преступления порядка. Наиболее его возмущали тщеславие поляков, поднявших восстание, и черная неблагодарность освобожденных государем крестьян.

— Понять это, господа, невозможно, — говорил он, попеременно обращаясь то к подполковнику Оноприенко, то к Володковичу. — Имея привилегии, которых лишено было дворянство внутренних губерний, шляхта хватается за ружья,

требует отсоединения, клеветает на царя, втягивает в мятеж невежественные слои. Какова дерзость! Какое самомнение!

— Нам, здешним дворянам, вообще чужды идеи войны, — оправдывающимся тоном объяснял Володкович. — Мы всегда были окраинные и от этого всегда терпели. Только богатырская спина российского государства обеспечила нам спокойствие и мир. Застенки и околицы — вот источник смуты.

— Не только, не только! — говорил Лужин. — Из порядочного круга люди тоже оказались замешаны, и скажу, самым скверным образом. Казненный руководитель Сераковский был офицер генерального штаба...

— Это, пожалуй, самое удивительное, — отвечал исправнику наш командир. — Нарушить воинскую присягу — худшего преступления я не могу вообразить.

— А сколько юношей из приличных семей, — продолжал исправник, — ушли в мятежный стан, стреляли в войска, убивали солдат...

— Ужасно, ужасно! — соглашался Володкович.

— Я не могу вам раскрывать содержание документов, поступающих к нам, но, поверьте, сердце обливается кровью от числа жертв с обеих сторон...

— Да, господа, — значительно произнес наш командир, — нет большего счастья для страны и населения, чем мир. Мы, солдаты, знаем это лучше всех.

— Это единственная возможность развивать экономику, — сказал Михал. — Примером чему служит Англия, куда никогда не ступала нога завоевателя.

— И весьма жаль, — ответил исправник. — Вот уже куда следовало высадиться, хотя бы в отместку за разрушение Севастополя.

— Война имеет то достоинство, — вмешался в беседу Шульман, — что развивает медицину, в особенности хирургический ее раздел. (Подполковник Оноприенко кинул на лекаря неодобрительный взгляд, который, однако, лекарь игнорировал.) Да не будь войн, мы и ноги не умели бы правильно отрезать, — говорил Шульман. — Это огромный стимул к совершенствованию инструментов и науки...

— Справедливая и убедительная мысль, — сказал Лужин. — Согласен с вами полностью. Эдуард Станиславович, — повернулся он к Володковичу, — Северина все нет, а мне хочется его видеть.

— На долгую, верно, пошел прогулку, — ответил Володкович. — Трепетные чувства, страдание, — он поднялся. — Но не поленюсь посмотреть...

Исправник Лужин воспользовался случаем сообщить о несчастных случаях, имевших место в уезде по любовным причинам. Некая барышня влюбилась в ксендза, но, не склонив его к отказу от сана, приняла мышьяк и скончалась в ужасных муках. Муж убил неверную жену; жена околичного шляхтича застрелила ловеласа-мужа; мужик зарубил соблазнителя дочери, после чего последняя кинулась в омут. И в пять минут, к тому времени, как вернулся хозяин дома, он нашпиговал собрание десятком трагедий.

Господин Володкович объявил, что Северина в доме нет,

и извинился пред всеми за его невежливость. Словно в искупление этой вины слуги внесли блюда с жаркими. Телячья грудинка с раками, жареные гуси, бараньи котлеты, филе, снятое прямо с вертела, раковые сосиски вздымались на подносах грядою холмов, а хозяин, приложив руку к груди, просил простить убогость стола, приготовленного на скорую руку. Скромность его была опротестована бурным восторгом. Судя по неутолимой жажде лекаря, и вина были отличны. Исправник, как я уже отмечал, бывший худоватого телосложения, ел, однако, с силою Ильи Муромца, так что у меня даже возникло подозрение — не имеет ли он особого органа для хранения пищи впрок подобно пеликану.

Внезапно где-то неподалеку прозвучал пистолетный выстрел, и наш приятный ужин прервался.

VI

— Это ваши балуют? — удивился исправник.

— Нет, — отвечал Володкович. — Мои не посмели бы. И оружия не имею. Только мортирки. Петра! — крикнул он.

Явился слуга.

— Позови Томаша.

Через три минуты в столовую вошел запыхавшийся Томаш, в котором я узнал спесивого кучера, виденного нами возле корчмы.

— Кто стрелял? — строго спросил Володкович.

— Не знаю, ваша милость пан.

— Так узнай! — приказал хозяин. — И живо!

Беседа естественным образом перевелась на разбойников. Наш прапорщик Купросов, родом из Архангельска, рассказал несколько историй о раскольниках, считающих грех на душе необходимым условием для внимания бога к молитве. По их поверьям, кто без греха, того бог не слышит и не может простить. «Это верно, господа, — подтвердил Лужин, — наибольшее число преступлений совершается вблизи раскольничьих сел. К счастью моему, в нашем уезде их нет». Володкович вспомнил случаи грабительских нападений горцев, свидетелем которых довелось ему быть. И даже наш лекарь внес вклад в устрашение панны Людвиги, поведав о жестоких нравах московских воров, на мой взгляд, все целиком придумав под влиянием вина.

Все уже позабыли о выстреле, как двери распахнулись и в залу влетел Томаш.

— Ваша милость пан! — закричал он. — Северин! Пан Северин... Выстрелил в грудь...

— Что! Кому! — закричал Володкович.

— Себе! Себе! Он там — в беседке.

Господин Володкович кинулся бежать, за ним — Михал, Людвиг, Красинский и все наши офицеры. Лужин — я сразу оценил его сметку — захватил подсвечник.

Мы бежали по темной аллее. Свет возшедшей луны едва доходил сюда сквозь густую листву. «Северин! Северин!» — выкрикивал Володкович. «Ничего не трогайте, господа», — кричал исправник.

У беседки все сгурбились. Лужин зажег свечи и сказал

Шульману: «Прошу вас со мной». Я вошел в беседку третьим.

В слабом свете свечей мы увидели молодого человека, лежащего на спине. В правой его руке был дуэльный пистолет, а обожженная порохом дыра на сюртуке показывала, что пуля вошла в сердце. Лекарь наклонился и сжал пальцами запястье Северина. Лужин приблизил к лицу покойного свечи, поднял их и сказал:

— Эдуард Станиславович. Мужайтесь!

— Сын! — вскрикнул Володкович, шагнул в беседку и упал на колени возле мертвого своего сына. Панна Людвиг издала стон и стала валиться в обмороке. Красинский поднял невесту на руки. Еще набежали слуги, зажглись факелы, тело самоубийцы положили на скатерть и понесли в дом. Его поместили на большой диван в гостиной. В комнату втиснулась вся толпа, все были растеряны, многие плакали, какая-то старуха — хранительница обычаев — начала распорядиться. Наш командир принял решение уезжать. Михал послал конюхов запрягать и седлать наших лошадей. Офицеры вышли во двор. За нами последовал исправник Лужин.

— Господин подполковник, — обратился он к Оноприенко, — не сочтите за труд, но мне надобно свидетельство, подписанное офицерами, о том, что сегодня здесь случилось. Надеюсь, вы понимаете, просьба продиктована служебными обязанностями.

— Конечно, — согласился командир. — Полагаю, Петр Петрович, — сказал он мне, — вы не откажетесь написать такую бумагу?

«Почему мне писать?» — сердито подумал я, но отказываться было неприлично, и я кивнул.

— Вот и хорошо, — сказал исправник. — Я остаюсь с господином Володковичем, а утром заеду к вам.

VII

Еремин, хорошо угощенный на кухне, лихо гнал упряжку, мы удалялись от несчастного дома на рысях. Мои товарищи на разные лады осуждали самоубийцу. «Экая чепуха, — говорил один, — барышня отказала... Да мне пять раз отказывали, и вот, ничего, жив и служу. И нашел время...» — «Да» невежливость, — отзывался другой. — Хочешь стреляться — дело твое, никто не перечит. Но зачем же людям портить вечер. Все за столом, а он в беседочку уединился — и бах! Будто нельзя было в поле уйти или подождать разезда. Это все, господа, западное влияние. Не по-нашему он поступил. У нас никто сам себя не убивает, только друг друга, а это там, в Париже или Вене, моду завели...» — «И отцу какво сделал, — говорил третий. — Вот сила гордыни, господа. Отказали, так жизни не пожалел — как же, посмели обидеть франта». А прапорщик Васильков беспрестанно вздыхал: «Бедная девушка! Несчастливая Людвиг». Иногда доносился до нас голос командира, порицающего слабость воли. Что отвечал ему лекарь, нам слышно не было.

Через полчаса мы прибыли в деревню.

Федор, освещенный светом полной луны, сидел на пороге и покуривал трубочку.

«Звезд повысыпало, глядите, ваше благородие, — сказал он задумчиво. — Сколько-то душ человеческих на свете — в такую только ночь и видно, но не сочтешь». — «Так ты считать пробовал?» — спросил я. «Нет, ваше благородие, — отвечал Федор, — Ни к чему. Это бог знает. Я на свой огонек смотрел» — «А где же твой?» Федор указал мне голубую звездочку. «А откуда ты знаешь, что твой огонек, вдруг — мой?» — «Нет, — отрицал Федор. — Мой. Мне так отец говорил. С нею рядом другая прежде горела звезда, а как отец помер — с тех пор погасла, задул ее, значит, господь. Так что точно моя». — «А ты не видал, сегодня никакая не погасла?» — «Было, упали, две, двое и преставились». — «Ну что ж, — сказал я, — убедил», — и рассказал про самоубийство Северина. «Жалко, — вздохнул Федор. — Ведь зря, верно, ваше благородие». — «Да, — ответил я. — Зря».

Я вошел в дом, зажег свечу, достал из чемодана блокнот и сел писать бумагу для исправника.

«Мы, подписавшиеся ниже офицеры 3-й гвардейской коннооблегченной батареи 2-го дивизиона, свидетельствуем следующее происшествие. Будучи 7 сентября приглашены к помещику Володковичу, мы, а также члены его семьи, помещик Красинский, уездный исправник господин Лужин услышали...» Тут я задумался, стараясь припомнить положение стрелок на часах в минуту выстрела. Наконец я вспомнил и записал: «...услышали без пяти минут десять вечера пистолетный выстрел в близком от дома удалении. Слуга, посланный господином Володковичем узнать причину стрельбы, скоро

вернулся...» Нет, он нескоро вернулся, подумал я, он в половине одиннадцатого вбежал. И я зачеркнул слово «скоро»: «...вернулся спустя полчаса и сообщил, что в беседке на прудах лежит старший сын господина Володковича, сам в себя стрелявший. Бегом достигнув беседки, все вышеназванные лица увидели там труп несомненного самоубийцы...» Вошел Федор и сказал за моей спиной:

— Дед, как тут у вас, конокрады не водятся, коней наших не уведут?

— У нас тихо, — отвечал с печи мельник. — Наезжал один, так его еще в запрошлый год соседние мужики убили.

— Вы не спите? — спросил я хозяина.

— Лежу вот, — ответил мельник. — Какой сон в старости. Одно название.

«А помещика Володковича знаете?» — «Кто его не знает». — «Он хороший человек?» — «А кто среди панов плохой, все хорошие». — «А как он, добрый?» — «Добрый, добрый. Как все паны. Про их доброту и сказка есть».

— Какая же? — заинтересовался я.

— А вот в праздник встретились в корчме пан Гультаевич и пан Лайдакович. Выпили, глаза повылазили, и пан Гультаевич говорит: «Знаешь, какой я добрый, таких добрых во всем свете нет!» А пан Лайдакович отвечает: «Твоя, брат пан, правда. Ты добрый. Но я добрее». — «Нет, — говорит Гультаевич. — Хоть ты и добрый, но я добрее, чем ты». — «Как ты можешь, пся крев, — кричит пан Лайдакович, — говорить, что ты добрее, если самый добрый — я.» — «Ах, ты добрее, хам тебе

брат!» — и Гультаевич за саблю. И Лайдакович за саблю. Стали рубиться. Рубились, пока Лайдакович Гультаевича не зарубил. Уже тот и не дышит. А Лайдакович говорит: «Теперь, брат, не будешь говорить, что ты добрее. Я самый добрый». Вот и пан Володкович добрый, — заключил мельник.

Вдали послышался конский топот и стал приближаться. Федор вышел из хаты. Вскоре во двор прискакали два всадника. «Что, Федор, штабс-капитан еще не спит?» — узнал я голос Шульмана. «Нет, — отвечал денщик, — что-то там пишут». — «А ты спроси, — сказал Шульман, — он позднего гостя примет?» — «Заходите. Его благородие, я знаю, вам всегда рад».

Вторым всадником оказался караульный канонир. Он тут же и ускакал.

VIII

— Петр Петрович, не осудите, что прихожу в полночь, как черт, — сказал Шульман с порога. — Мне не спится, хочется поговорить, а прапорщик Купросов заснул мертвым сном и в придачу храпит...

— И мне не спится, — ответил я, — садитесь, Яков Лаврентьевич. Поройся-ка в чемодане, — сказал я Федору, — там портвейн должен быть.

Добрая душа Шульман от последних слов повеселел. Он происходил из немцев, но из немцев обрусевших, и цельность тевтонского характера была разрушена в нем влиянием русского окружения, особенно в Московском университете, где

он проучился два курса до академии. К добрым немецким свойствам — ясности жизненной цели, твердому уму и привычке философствовать — примешались их славянские антиподы — чувствительность и следование желаниям. Особые чувства он питал к вину, которое, хоть и был доктор, или именно поэтому, по правилам самообмана, считал за лучшее среди целебных средств. Впрочем, немецкое благоразумие удерживало эту русскую страсть в приемлемых пределах.

— О чем же, Яков Лаврентьевич, вы хотите поговорить? — спросил я, откупорив бутылку. — Уж не о психологии ли самоубийцы?

— Пустое об этом говорить, — сказал лекарь. — Достоверным источником такого состояния могут служить лишь записи или рассказ человека, стрелявшего в себя, но неудачно. Все другое — наш вымысел. Чувство неудавшейся жизни может быть интуитивным, а потому правильным. Интересно как раз обратное — не то, что некоторые стреляются или прыгают в омут, а что многие этого не делают, хотя должны.

— Инстинкт, — возразил я.

— Вот и заковыка, что инстинкт, — сказал Шульман и отпил из кружки. — Сильный инстинкт что, по-вашему, означает? Впрочем, сам и отвечу — слабость сознания. Взять каторжника, ему дали пожизненно рудники. Представьте, под штыком, терпит издевательства, но тянет, тянет, как вол. Таковым он и становится. Что светит ему? Какая звезда? Взять бы, кажется, ремень, привязать к суку и захлестнуться. Но

нет...

— Стало быть, герой сегодняшней трагедии проявил высокое сознание?

— Отчего же говорить нет. Скажу — да.

— Однако было этому Северину в чем себя проявить кроме чувств, — сказал я. — Все отмечали — умен и, брат говорил, увлекался химией. Мог ученым стать.

— Простите меня, что вмешиваюсь, — сказал с печи мельник. — Вот вы о Северине говорите. А что такое случилось?

— Застрелился, — ответил я, — два часа назад.

— Северин?! — вскричал старик и соскочил с печи. — Застрелился? Так этого не может быть.

— Почему же не может, — сказал Шульман. — Своими глазами видали.

— Вот беда! Вот беда! — запричитал мельник.

Я удивился:

— Да вам какая беда?

— Так я его знаю с пяти лет. На мельницу прибегал. С сыном моим Иваном дружили, охотились вместе. Вот кто был хороший человек, видит бог, хороший. Но не мог он застрелиться! — Мельник уставился на нас полными слез глазами.

— Из-за девушки застрелился, — объяснил я. — Не захотела с ним под венец идти.

— Из-за девушки? — еще более удивился старик. — Не стал бы он плакать из-за девушки. Ого! Это молодец.

Откуда тебе о нем знать, подумал я. Дружил он, что ли, с тобой, старым вдовцом? И туда же, рядить.

— А как он застрелился? Как? — допытывался мельник.

— Пруды у них есть, — сказал Шульман. — Беседка стоит. (Знаю, знаю, закивал старик.) Вот там себя и убил.

— Господи! Вот беда! Вот несчастье! — бормотал мельник. — На воздух выйду.

И он исчез.

IX

— Да, так мы о сильной воле говорили, — вспомнил лекарь.

— О слабой, — поправил я. — А если то, что вы называете слабостью — богобоязнь?

— Не надо, не надо! — замахал на меня Шульман. — Не надо бога привлекать. Сами хорошо знаете, что никто, помимо истеричек, в бога не верует.

— Ну уж это вы слишком, — слегка опешил я. — Никто не верует, а меж тем все человечество молится.

— Молится! — хмыкнул Шульман. — Эта важность! Вот в нашей благословенной Отчизне еще трех лет не прошло, как людей от скотского звания освободили. И то под выкуп, как турки. А в Казанском соборе, видели, с какой страстью кресты кладут? Хороши, нечего сказать, христиане. По три шкуры дерут. Тот же хлебосол Володкович. Отчего не хлебосольничать с дармовых денег. И детки под стать. Одна — дура, бездельница, только и есть достоинств, что смазливая, и к

тому же истеричка, по голосу слышно, младший — манией величия болен, могу гарантию подписать, старший — но о нем поздно говорить. Хотя в медицинском отношении случай весьма занимательный. Скажу вам даже, что это самоубийство подсказало мне тему исследования. Вернемся из похода — обязательно займусь.

— И вообразить не могу, что вас заинтересовало, — сказал я. — Обычный выстрел в упор. В Севастополе я десятки таких ран видел после рукопашных.

— Это верно, — согласился лекарь, — рана как рана. А любопытно то, что за полчаса, которые вы определили между выстрелом и нашим осмотром тела, оно не должно было охладиться до такой степени. Вот и темка для какого-нибудь студента: «Влияние внешних условий на скорость охлаждения трупа».

— Фу! — поморщился я. — Что за удовольствие. И пользы-то никакой для живых.

Шульман ухмыльнулся:

— А какое удовольствие вам, артиллеристам, рассчитывать разлет шрапнели?

Я собрался возразить.

— Ну да, ну да, — определил меня Шульман. — Это для славы оружия и блага Родины.

— Но за какое время, вы думаете, — сказал я, — он мог остыть до такого состояния?

— Часа за два, — был ответ.

— Нереально, — сказал я. — Что же, он умер двумя

часами раньше, чем курок спустил? Этак выходит, что он уже неживым в беседку пришел.

— Выходит, что так.

— Мистика, Яков Лаврентьевич. Переменим предмет. Меня такая тема совершенно точно лишит сна.

— Могу снотворное предложить, — ответил лекарь. — Батарейный командир, между прочим, воспользовался.

— Естественно, — сказал я. — Такие переживания... Держу пари, что у следующего помещика он потребует сдать детей нашему караулу.

Мы посмеялись над некоторыми странностями нашего подполковника, пришли в хорошее расположение духа, и лекарь, поскольку портвейн в бутылке иссяк, отправился на свою квартиру. Федор поехал его проводить.

Я написал под свидетельством фамилии и чины офицеров, задул свечу, лег на сенник, но не смог заснуть, пока не вернулись Федор и старик. Хотя какая все же странность: что мне было до них?

Х

Когда я проснулся, никого в избе не было. Я вышел во двор. Федор возле сарая чистил коня, приговаривая ему, как девушке, ласковые слова.

— Ваше благородие, — сказал он. — Поздравляю вас с праздником.

Я хотел удивиться, но припомнил, что сегодня наш батарейный праздник³; я полез в карман, нашел рубль и

подарил Федору.

— И я тебя поздравляю, — сказал я. — А сейчас возьми бумагу — на столе лежит, объедь офицеров — пусть подпишут. Все, кроме Нелюдова... А что, наш хозяин давно ушел?

— Давно, — ответил денщик. — Шальной он какой-то, ей-богу. Встал с зарей, потоптался, бумагу вашу прочел, помолился, сапоги в руки — и пошел. Хоть бы сала кусок предложил, так нет, скрылся.

— А ты разве не спал, что видал?

— А я и сплю, и вижу, — сказал Федор и добавил с упреком: — Я же вчера трезвый был, не то что, как говорят, Еремин.

— Вот и хорошо, — похвалил я. — Так и должно.

— Что в этом хорошего, — возразил Федор. — Спал, как Жучка какая, разве выспишься?

— Сегодня свое возьмешь. Ну, езжай. У командира меня жди.

Выбрившись, с ленцою собравшись, я оседлал Орлика и поехал к подполковнику Оноприенко. Возле церкви собирался местный народ. Встречавшиеся мне солдаты все имели радостный вид. На крыльце поповского дома подполковник отдавал распоряжения фельдфебелю.

— Вы вовремя, Петр Петрович, — сказал командир. — Приезжал исправник, просит помощи — мятежники объявились. Я думаю, как поступить.

Зная характер командира, я ответил: «Дело хорошее, и

людей надо дать. Только надо предупредить канониров, чтобы не ставили себя под пули». — «Вы думаете, это возможно?» — «Конечно. Иначе Лужин и сам бы их взял. Он хитер. Убьют кого-нибудь — ему ничего, а у нас — потери в расчетах». — «Вы правы», — ответил подполковник. «У него приставы есть, сельская стража, пусть подымет, — продолжал я. — Силами армейского подразделения, конечно, легко исполнять службу». Командир кивнул, и я подумал, что исправнику будет дан отказ. Это доставило мне удовольствие. Но я ошибся. «Все-таки и нам следует принять участие, — ответил подполковник. — Это наш долг, и кроме того, люди войдут в должное настроение. А то ведь многие считают — прогулка. Так и решим, — сказал он. — Вчера Нелюдов, хотя не по очереди — по жребию, а дежурил. Мне будет неловко его посылать, и потом — он горяч, поспешен... Так что, Петр Петрович, я вам поручаю. Возьмите два взвода, надеюсь, хватит... Лужин говорит, что мятежников — малая группа. Он сейчас вернется, вы с ним и обговорите... Я полагаю, — сказал командир, — к полудню управитесь. Тогда в полдень и построимся на праздник. А не управитесь, так часа этак в три...»

Поп, как раз вышедший из избы, пообещал свое участие в полковой церемонии.

Я молчал, соображая, каким образом увильнуть от подлого дела. Наотрез отказаться было нельзя — хоть и не в уставной форме говорилось, но это был боевой приказ. И никакой отговорки не имелось... К такому повороту событий я совсем не был готов...

Появился Федор со свидетельством, и командир зашел в дом поставить подпись. Тут же прибыл исправник с приставом и полутора десятком стражи. Лужин, обрадовавшись, как он сказал, сообщничеству со столь храбрым и опытным офицером, стал мне объяснять план пленения мятежников. Численности их он не знал; крестьяне, доложившие ему о мятежниках, видели двоих, но, вероятно, их больше, десяток. Заметили их в семь часов возле Шведского холма — это в четырех верстах от деревни. («Почему Шведский?» — поинтересовался я. «Дом, там, по преданию, стоял, — сказал Лужин.— Шведы сожгли. Вместе с людьми. Но и был когда-то дом, камни остались, меж деревьями лежат».) Скорее всего, говорил Лужин, мятежники и сейчас там, потому что днем передвигаться по мирному уезду они вряд ли рискнут.

Слушая исправника, я желал мятежникам бежать с того места во всю прыть.

Меж тем во дворе собрались офицеры, и каждый просился в отряд, а более всех молодые — Васильков и Купросов. Я выбрал из моей полубатарей Блаумгартена и Ростовцева — из нелюдовской. Они поскакали готовить свои взводы.

Подполковник вручил исправнику свидетельство о самоубийстве Северина и пожелал нам обоим удачи. Через четверть часа два наших взвода выступили в поход. Вместе с людьми Лужина было нас около семидесяти человек.

XI

Я ехал на карательную акцию. Произошло то, чего я в час

отправления из Петербурга не хотел и предполагать. Я думал, что мне как артиллеристу участвовать в столкновении с мятежниками не придется. Вооружение повстанческих отрядов не допускало с их стороны позиционных действий, при которых возможно применение артиллерии. Край насыщался войсками, но, по моему мнению, батареи посылались, что называется, для пущей важности. Нам предстояло быть силой не прямого, а психологического давления. Увы, казавшееся нереальным свершилось — я вел отряд и не мог противиться. Не с кем было и посоветаться. Блаумгартен и Ростовцев горели нетерпением схватки и подвига. Вдруг, даст бог, удастся показать себя храбрецами — и пожалована будет награда. А за серебряный крестик на грудь можно положить под деревянный крест пяток инсургентов. Это приветствуется. Так чувствовали они и множество других офицеров.

О наградах мечтали, легкость, с которой их жаловали за усердие в усмирении, лихорадила умы. Еще с апреля во всех петербургских полках не сходила с уст удача павловца Тимофеева, в один день из капитана, ротного командира, вознесенного в полковники. Историю его повторяли в любой офицерской компании. Говорили, что отряд его разбил большую шайку, командира ее изрешетили пулями, до ста мятежников убито было в бою. С донесением об этом Тимофеев лично прибыл в столицу, его принял сам государь, беседовал, пожал руку, сказал: «Благодарю за молодецкое дело. Я награждаю тебя флигель-адъютантом». На этом месте рассказа у всех лица бледнели, головы кружились от зависти. Флигель-

адъютант! Что большего желать! И кому везет, тому везет. Месяца не прошло, этот же Тимофеев полностью истребил другой отряд и получил золотую саблю за храбрость. Он в Зимнем, он офицер свиты, уже меньше, чем генерал-майором ему не умереть! В первой гвардейской дивизии офицеры петровских полков нижайше просили — направить в Западный край. И сам государь император, освободитель, не ленился, ездил в полки на разводы, становился перед строем и взывал: «Надеюсь, господа офицеры, что вы будете славно драться и не пожалеете жизни за Веру, Престол, Отечество. Время для нас теперь тяжкое, но с такими, как вы, я никого не боюсь!» А кого регулярным войскам бояться? На каждого мятежника — пятеро. Одних гвардейцев черт знает сколько. Финляндский полк, Московский полк, уланы, гусары, павловцы, измайловцы, казаки гвардейские. А еще семеновцы, преображенцы, саперный батальон, императорской фамилии батальон, артиллеристы первой бригады — надо всеми царь шефствует. А обычных полков, а казаки донские, а батальоны внутренней службы — не счесть, тьма! И каждый желает чин, Анну, Владимира, Георгия, наконец. И каждый старается — стреляет, колет, рубит, берет в плен и считает это за высокую честь.

А самое дурное, что зверские такие привычки привиты поголовному большинству — ничего нельзя сделать против, остается молчать и свою совесть беречь.

ХII

А как сбережь? Ведь сам и скачу, думал я, бью шенкелями

(мы шли купной рысью). А случись мятежников шайка — истребим, а придется истребить — мне первому и награда, чтобы все видели — человекоубийца. И делаю же, удивлялся я, хоть душою и против.

Одна меня утешала надежда, что мятежники, вопреки ожиданиям Лужина, место своей стоянки покинули и скрылись. Тогда, если их на Шведском холме не найдем, решил я, вести поиск откажусь и заверну отряд в деревню.

После трех верст пути Лужин сказал, что до холма осталось рукой подать, и предложил разбить отряд надвое и половину послать для тылового захода. Я воспротивился, настаивая на фронтовом наступлении всеми людьми, в тыл же, сказал я, достаточно послать пикеты из стражников. Те по знаку исправника сразу же и ускакали. Скоро взводы спешились, при лошадях осталась охрана, канониры рассыпались в цепь и вступили в леса. Местность тут была такая: два лесочка, которые сейчас прочесывали Блаумгартен и Ростовцев, перемежались сжатыми полями, а за ними опять стоял небольшой лесок, и в другой стороне тоже был лесок, а Шведским холмом оказался густо заросший бугор, на который все эти перелески выходили острыми опушками. Взвод Блаумгартена шел через первый лес, ростовцевский — по соседнему, а исправник и я скакали верхом вдоль боковых опушек — по разным концам поля.

Как же, найдешь ты мятежников, думал я, поглядывая на Лужина. Дураки они тут сидеть. Давно ушли, слышав топот. Не грелись на солнышке, сторожились, верно. Мы этим лесом, а

они уж тем, а через пять минут будут в следующем. Что их там — горстка; и не видно, и не слышно. Ищи ветра в поле.

Но именно в эту минуту впереди, достаточно еще далеко, вырвались из леса две фигуры и, держа в руках штуцера, пригибаясь, побежали через поле на бугор. Ростовцев, идущий неподалеку от меня, тоже заметил их и, закричав: «Взвод, ко мне!» — помчался вперед. По команде Лужина стали выскакивать из леса и блаумгартеновские канониры. Через считанные секунды беглецов преследовали, выстраиваясь в цепь, человек тридцать, и посреди них гарцевал Лужин. Теперь мятежников могли спасти лишь потайной ход, воздушный шар, а решимость и ноги только при вмешательстве божьем.

Никто не стрелял.

Небо было синее, сверкали в воздухе паутинки, стерня золотилась в ярких лучах, и оттого тяжелый топот сапог, вскрики солдат, входящих в азарт, злые окрики Ростовцева: «Бегом! Бегом!» — все это в тишине светлого утра казалось нелепым и невозможным.

Я ехал шагом, цепь уже далеко меня опередила и правым флангом разворачивалась на Шведский холм, до которого двум мятежникам оставалось бежать шагов сто.

Меж тем, следуя вдоль опушки, я поравнялся с местом, откуда инсургенты, на свою же беду, выскочили. Тут я увидел за молодой елью третьего мятежника, вооруженного двуствольным пистолетом, дула которого глядели мне в грудь. Это был крестьянский детина, широкий в плечах, коренастый, одетый в полусвитку. Приложив палец к губам, он подавал мне

грозно знак молчать. Я невольно улыбнулся. Кобур был расстегнут, выхватить шестизарядный Лефоше и вогнать в парня пару пуль заняло бы мгновение. Нетрудно было и пленить его.

— Дурак! Чего ждешь! — сказал я тихо и искренне. — Беги. Я не трону. Но — живо.

Бог надоумил детину поверить. Он, пятясь, стал отступать, скрылся меж стволов, и затрещал под его ногами хворост.

На сердце у меня повеселело.

Я глянул на беглецов. Они сбрасывали свои серые длинные чамарки. От леса их отделяло двадцать шагов. Вдруг Лужин взял у солдата штуцер, прицелился, выстрелил — и выстрелил, подлец, метко. Мятежник, бежавший первым, рухнул как подкошенный. Над ним наклонился товарищ, нечто прокричал в сторону солдат и, вскинув штуцер, выстрелил по исправнику — однако дал промах.

Лужин тотчас потребовал у солдат новый заряд. Я ударил коня и с криком: «Не стрелять! Брать живыми!» — поскакал к исправнику. «Не стреляйте!» — сказал я ему. «Да ведь скроется в кустах, трудно будет схватить, — ответил исправник в раздражении. — Людей побьет». — «Выкурим!» — ответил я. «Но ловко я сразил? — спросил у меня Лужин. — А скажу, давненько не стрелял».

Мятежник скрылся в кустах.

— Скоро опять сюда выскочит, — сказал Лужин. — С той стороны пристав стоит. Вот увидите. Сейчас конец.

А вот вгоню тебе сейчас в пасть весь барабан, все шесть пуль, подумывал я, и тебе будет конец. Рука моя невольно ползла к револьверу. Чтобы уйти от искушения, я поскакал к сраженному инсургенту. Он был мертв, Лужин попал ему в голову.

— Эх, и понесло его, ребенка, воевать, — вздохнул подошедший солдат. — Да что в нем — подросток. А ить, ваше благородие, красивый был. Мать, поди, ждет.

К убитому подъехал его убийца. «Э, да он совсем еще сопляк, — сказал Лужин. — А издали на матерого походил. Фу, черт, нехорошо вышло».

— Да, не похвальный подвиг, — сказал я и поскакал вдоль цепи.

С тыльной стороны Шведского холма стояли конно люди Лужина. Я с горечью убедился, что уйти мятежнику не удастся. Считанные минуты отделяли его от смерти или пленения.

Так и случилось. Вскоре его вывели из кустов с закрученными руками. Лицо его было разбито до крови.

«Зачем же били?» — спросил я солдат. «Да он, ваше благородие, озверел. Федотова чуть не задушил, а вон, поглядите, Мирону два зуба выщербил». И правда, ростовцевского взвода канонир стоял с рассеченной губой и сплевывал кровь сквозь дыру в передних зубах. «А вы, васэ благородие, не думайсе, — говорил картавя этот Мирон, — цто он меня сбил. Я его и скрусил. Дал в ухо — он и закацался». — «Не врет», — подтвердили очевидцы. «Ну и молодец, — похвалил я. — Благодарю тебя за службу. Я доложу командиру

батареи». — «Рад ссарацься, васэ благородие», — ответил довольный Мирон и, что меня удивило, беззлобно поинтересовался у мятежника: «Ну сто, болиц тебе ухо?» — «А у тебя зубы?» — спросил мятежник. Солдаты засмеялись.

— Вот он каков, разбойник, — сказал подъехавший Лужин. — Так я, господин штабс-капитан, его забираю.

— Никак не могу отдать, господин исправник, — ответил я. — Наши солдаты его взяли. Командир решит, как с ним поступить.

— Мне и передаст, — возразил Лужин. — Кому же иному?

— Это уже его дело, — сказал я. — Может быть, вам, а может, военному начальнику; или в Вильно распорядится доставить. А вот что с тем делать?

— Пристав скажет — похоронят. Как звали дружка? — спросил Лужин мятежника.

— Петрашевич. Виктор Петрашевич, — отвечал пленный. — Пусть напишут на кресте.

— Может, и напишут, — сказал исправник. — А тебя как звать?

— Бог знает, — ответил мятежник, — а тебе не скажу.

— Много вас было в шайке? — спросил я.

— Какая же шайка, — презрительно на меня глядя, ответил пленный. — Двое и было всего. Это вас, я вижу, сотня выступила против двоих.

Я позвал Ростовцева.

— Господин поручик, поручаю вам охрану пленного.

Доставить в деревню живым и невредимым. И пусть умоется у первой воды, а то не разобрать, какую имеет внешность.

Ростовцев назвал четверых солдат в конвой.

Исправник о прочесывании других перелесков, к удивлению моему, не заикался. Я приказал возвращаться. Повели пленного, солдаты пошли к лошадям, пристав послал стражника за лопатами. Я повернул коня и поскакал в деревню.

Доложившись командиру о результатах, я без труда убедил его в пользе сдачи пленного уездному военному начальнику без посредства Лужина. «Наши люди рисковали, — говорил я, — а он эту удачу припишет себе, а про нас скажет, что оказали посильную помощь. С него достаточно, что подростка наповал уложил. И без повода». — «Вы правы, — ответил подполковник, — так и поступим».

Полчаса спустя вернулся отряд. Пленному дали воды, связали и бросили в поповский сенной сарай. Возле сарая стал ходить караульный с примкнутым штыком.

хш

В полдень звонкий сигнал трубы призвал батарею на церковный парад⁴.

Взводы выстраивались на линию. Толпа крестьян составляла нашу публику. Молодые парни завистливо смотрели на конных канониров, которые ввиду множества женских глаз держались орлами.

Скоро на левом фланге появился Оноприенко. Я скомандовал: «Батарея! Смирно! Равнение на командира!» — и,

оголив саблю, поскакал перед фронтом навстречу подполковнику. Мы сблизились, я доложил, командир поздоровался и поздравил батарею с праздником, остался доволен раскатами молодежавшего «ура!» и начал традиционную речь.

«Гвардейцы! Артиллеристы! В торжественный для нашей батареи день каждый из нас от левофлангового канонира до вашего командира оглядывается на пройденный батареей полувековой путь, начало которого положено было в достославном восьмьсот двенадцатом году подвигами наших предшественников. Мысленным взором мы видим их сейчас на правом фланге, по ним мы равняемся, их мужество и стойкость, исполнение ими долга — для нас вечный пример. Государь император оказал нам свое доверие. Мы посланы защитить высшие интересы Отчизны...»

Что далее говорил командир, я слушал плохо — эту речь я по памяти мог сам рассказать, она много лет не обновлялась. Но, пользуясь возможностью, подполковник Оноприенко вкрапил в нее сегодняшней случай: поругал вооруженных противников государя, похвалил решимость солдат, восхвалил щербатого Мирона и выразил уверенность, что в более крупных делах, коих все мы должны желать, батарея, как один человек, выкажет мужество и боевое рвение.

Меж тем прибыл поп, облаченный в ризы, несли хоругвь, пели босоногие дети в белом.

Поп со своей свитой стал с нами на одну линию, лицом к батарее. Командир спешился, спешился и я. Солдаты сняли

шапки.

Скука стояла невообразимая, как всегда бывает на церковных парадах. Батюшка, верно, впервые служил перед фронтом воинского подразделения и оттого был искренне разволнован и старался — худшее наказание для батареи трудно придумать. Приглядываясь к нему, я нашел в нем сходство с покойным государем. Невольно вспомнился мне смотр на Царицыном лугу, где государь произнес удивившую меня речь. Дело было так. Дворянский полк⁵ выпускали в действующую армию, и государь решил лично нас вдохновить. Нас построили, мы долго его ожидали. Наконец он приехал в открытой коляске, пересел верхом и, выехав перед отрядом, сказал: «Поздравляю вас от души с чином, надеюсь, вы не пожалеете жизни за Веру, Престол, Отечество. Вы знаете, к кому обращаться — прямо ко мне; меня не будет — к моему сыну. Будьте уверены, я вас не выдам. Прощайте, бог с вами, бог с вами!»

Товарищи мои грянули «ура!», сломали строй, восторженно кинулись целовать государю руки, сапоги, стремя, лампасы. Полк превратился в толпу, каждый лез вперед, желая прикоснуться к царю хоть пальцем. Не буду порицать моих товарищей — они поступили так, как нас учили поступать. С подъема до отбоя нам внушалось, что император — самый умный человек России, да и только ли ее — всей современной цивилизации. Он ответствен за историческую судьбу огромнейшей державы; он, не зная усталости, заботится о нуждах множества народов, объединенных в империю; он

противостоит проискам англичан, немцев, турок и Австрии — и всегда с успехом; драгоценное его время отнимают и внутренние враги спокойствия — он вынужден думать и об этих мерзавцах; он всем благодетельствует, он награждает преданность и храбрость. Не будь его, не было бы и нас с вами, говорили нам наставники. Немудрено было прослезиться юношам, зная, что царь прибыл поздравить полк специально.

Хочу сказать о себе, что я оставался вне ликующей толпы однокашников, поскольку государь всегда стоял вне круга моих интересов. В этом нет моей заслуги, это перешло ко мне от отца. Будучи ученым лесничим Гродненского уезда, он меньшее время уделял лесам, а большее чтению Гомера, Сенеки и сравнительных жизнеописаний.

Следуя за отцом, и я приучился считать своими современниками не шумную ватагу одногодков, а Гектора и Одиссея, легионеров Цезаря и хитроумного Цицерона. К тому времени, как обстоятельства вынудили меня поступить в Дворянский полк, я был более гражданином первого Рима, чем подданным третьего, и два года учения военному делу не смогли изменить моих привязанностей. Речи римских трибунов легко вспоминались мне, когда приходилось слушать церковнославянскую тарабарщину в церкви или бездумные выступления наших командиров. Ничего удивительного, что приветствие государя глубоко меня разочаровало. Что за речь, думал я. Так всякий может сказать: «Бог с вами, бог с вами». Наш курсовой командир говорит лучше. «Я вас не выдам!» Кому не выдам? Ерунда какая-то.

Скоро полк командою командиров был возвращен в порядок, коляска с государем укатила, а нас повели в казармы.

В этот же день нам вручили экземпляры Напутствия, написанного царем специально для молодых офицеров. Я перечел его трижды, надеясь увидеть глубокую мысль и мудрый совет. Но государь не советовал ничего другого, как любить его одного. «Дети, — писал государь, — отпуская вас на службу, Я обращаюсь к вам не так, как ваш начальник, но как Отец, вас душевно любящий, который следил за вами с юных ваших лет, который радовался вашим успехам, вашему постепенному развитию. Теперь вы выходите на поприще жизни, жизни военной; внемлите Моему совету: не забывайте никогда Бога, родителей ваших; помните всегда, что вы одолжены нравственным вашим существованием Государю Императору. Его постоянным к вам милостям: Он с младенчества вас призрел, Он вас взлелеял и, наконец, снабдил вас всем нужным для нового вашего поприща. Как можете вы, однако, заслужить столь великие к вам Его благодеяния, как не щадя себя ни в каком случае для Его службы; не забывайте, что в России, в нашей славной России, священные имена Государя и Отечества нераздельны; эта нераздельность — наша сила, пред которою неприятели наши всегда сокрушаются, и крамоле не будет места. Военная служба, сия благороднейшая служба, сколь представляет она вам в будущности славы; слава на поле битвы для благородной души сколь имеет отрады; и если участь удручила пасть на нем, то остается память, окружающая поверженного... Примите, дети, сии наставления друга; будьте

уверены, что вблизи и издалека он всегда будет следить за вами; во всех ваших нуждах, или если вам нужен будет добрый совет, обращайтесь к Нему, как к верному пристанищу. Прощайте, да благославит вас Господь Бог и да подкрепит на дела великие. За Богом Молитва, за Царем служба никогда не пропадают. Николай I».

Нечто подобное тому Напутствию говорил сейчас солдатам поп. Но люди так устроены, что одни и те же слова, произнесенные самодержцем и сельским священником, воспринимаются по-разному: в первом случае вызывают восторг, во втором — скуку, а почему так — понять трудно.

Зато легко понять радость батареи, осененной последним крестом. Все ожили, всех ждал праздничный обед, все пришли в движение. Фельдфебель сзывал взводных фейерверкеров получить водку. Командир пригласил офицеров к себе.

XIV

В сравнении с будничным ужином господина Володковича наш праздничный обед, изготовленный попадией совместно с командирским денщиком, можно было определить как нищенское подаяние. Из чувства приличия об этом не говорили, но вздохи и взгляды, которыми обменивались офицеры, были красноречивее слов. Однако вино — это мудрое изобретение седой древности, одно из первых изобретений человеческого ума, а по мысли Шульмана — первое, — заставило быстро примириться со скудостью и грубостью поповской кухни, и в горнице, красный угол которой был

облеплен иконами, после двух тостов в честь праздника настал веселый шум. Склонялось на все лады утреннее происшествие.

Я покинул компанию и вышел во двор.

У сарая скучал караульный.

— Что, братец, томишься? — спросил я.

— Конечно, ваше благородие, в такой час невесело стоять, — отвечал солдат. — Но и то хорошо, что не ночью. Кто ночью, тому скучнее будет.

— Верно, — согласился я. — А что пленный делает?

— Грустит, поди, ваше благородие. Что ему еще делать.

— Открой-ка. Хочу с ним поговорить.

Ворота, проскрипев, растворились, я вошел в сарай.

Связанный мятежник лежал на охапке сена. Это был интеллигентный человек лет двадцати пяти. Некоторое время мы один другого внимательно разглядывали.

— Как вас зовут? — спросил я.

— Вы ко мне пришли, — сказал мятежник. — Вам и представляться.

Я назвался.

— А я вам не назовусь, — ответил мятежник.

— Отчего же?

— Оттого, что мои родители живы — могут пострадать.

А вот я гляжу и удивляюсь: уже артиллеристы жандармские обязанности исполняют.

— Не все ль вам равно кто, — сказал я. — Сами виновны. Зачем понесло полев бежать? И сидели бы себе на опушке. Или в обратную сторону уползли. Никто бы вас и не видел.

— У товарища нервы сдали, — ответил мятежник. — Впрочем, и с другой стороны были конные.

— Не очень-то вы ловкие, — продолжал я. — У кого нервы выдержали, тот теперь вольным воздухом дышит.

Мятежник посмотрел на меня с любопытством, но сказал:

— Однако что вы хотите? Услышать от меня ничего не услышите. Будущее свое я и без вас знаю. Мне бы побыть наедине, пока возможно.

— А мне от вас ничего и не желательно. Я познакомиться зашел.

— Знакомство с вами хорошего не сулит, — сказал мятежник. — Судьба товарища моего — тому пример. А ему шеснацать было лет. Одно могу вам сказать — каратели. А вы лично стыда не имеете вовсе.

— Ну, вы и хватили, — я удивился. — Впервые меня видите, а такое суждение.

— Судя по погонам, вы — штабс-капитан?

— Да.

— И вчера вы были свидетелем несчастья с Северином Володковичем?

Я согласно кивнул.

— Так зачем вам лицемерно удивляться, — сказал мятежник. — Человека убили, вы же пишете — сам себя застрелил.

— Кого убили? — опешил я.

— Северина! — отвечал мятежник. — А вы комедию сочиняете на бумаге — самоубийца.

— Несусветное вы что-то плетете, — сказал я. — Вас пленили, неприятно, конечно, но стоит ли весь свет превращать в негодяев.

— Так уж весь свет, — улыбнулся пленный. — Только ваших офицеров да исправника. Кто-то из вас Северина и угробил.

— А откуда вам стало знать про бумагу? Вы вроде не читали?

— Ангел сказал, — ответил мятежник.

— Кажется, я знаю этого ангела, — сказал я. — Вот я с ним и поговорю. Но не думаете ли вы, что я убил сына господина Володковича?

— Не берусь утверждать. Скорее, исправник.

— Нет, — возразил я. — Он к выстрелу непричастен.

— А к сегодняшнему убийству кто причастен? По вашей логике, и Виктор — самоубийца. Оставьте меня, штабс-капитан.

Я выполнил его просьбу.

— Поговорили? — спросил меня солдат.

— Вполне, — ответил я. — Появится фельдфебель, скажи, штабс-капитан приказал накормить пленного.

— Слушаюсь, ваше благородие. Хоть и разбойник, а кушать каждому хочется.

Я вернулся в дом и сел возле Шульмана.

— Яков Лаврентьевич, — спросил я тихо, — вы никому не говорили о содержании свидетельства, которое вчера ночью я предложил вам прочесть?

— Ни единой душе, — отвечал лекарь. — А что, Петр Петрович, случилось?

— Странное случилось дело. Ну, да потом расскажу. Сам, покамест, смутно догадываюсь.

— Что ж, буду с нетерпением ожидать вашего рассказа, — вежливо сказал Шульман. — Догадывайтесь поскорее.

XV

Мельник встретил меня исполненным благодарности взглядом и низкими поклонами. Я уверился в правильности моих подозрений.

«Вот что, отец, — сказал я решительно, — мне надо встретиться с твоим сыном...» — «Не понимаю, о ком пан офицер говорит, уже полгода, как сын уехал», — несвязно заюлил старик. «Полно, полно, — оборвал я. — Не стоит время терять. Есть дело. Для него и полезное».

Старика мучили сомнения.

«Видит бог, я не сделаю ему дурного, — сказал я. — Ведь и утром я мог его арестовать». — «Вы один будете? — спросил мельник. «Один». — «Ну, пойдете».

Стежкою через огороды и кусты старик привел меня к мельнице. Здесь он сказал мне подождать, перешел плотину и скрылся в густом олешнике. Я присел на камни отводного канала. Внизу разбивался в жемчужную пену водопад. Перед плотиной, подступая к старым раkitам, река разливалась в широкий пруд. Эта картина напомнила мне пруды Володковичей и сидение всем обществом в беседке. А потом

беседку, освещенную двумя огнями свечей, и тело самоубийцы, не выпустившего из руки пистолет. А мятежник говорит — убили, подумал я. Но кто же мог убить, если все были в столовой. Отчетливо помню: когда прозвучал выстрел, офицеры, исправник, сын и отец Володковичи, Людвиг и Красинский сидела за столом. И кому надо убивать помещичьего сына так хитро. Трудно поверить; в сердцах наговорил; назло, чтобы оскорбить. Несладко лежать связанным и знать, что тебя повесят.

Возле меня ударился о землю камушек. Я поднял глаза — на другом краю запруды стоял старик и манил меня рукой. Оставив его на плотине сторожить, я вошел в олешник, где сразу же был встречен утренним моим знакомцем.

— Тебя Иваном зовут? — спросил я.

Мельников сын кивнул.

— Что же вы прятались этак неосторожно?

— Мы не прятались, мы человека одного ожидали, как раз в это время должен был прийти.

— А почему ты с друзьями не побежал?

— А что было бежать — глупость. Это Виктора страх сорвал. Как увидел цепь, так и понесся. Ну, и Август уже заодно.

— Я вот зачем с тобою встретился, — сказал я. — Мне непонятно, какие отношения были у вас с Северином Володковичем.

— Так он с нами был вместе, — ответил Иван. — Вчера вошел в дом, мы ждали-ждали — нет. Ночью батька приходит,

говорит, слышал от офицеров, что Северин на себя руки наложил. Ну, утром Август и Виктор пошли в усадьбу, с Михалом, братом его, поговорили, а потом мы и ждали его на Шведском холме.

— Выходит, и Северин был мятежник? — уточнил я.

— Командир! — сказал Иван.

Мне стала понятной простодушная хитрость господина Володковича, пригласившего нас на ужин для доказательства своей преданности государю: он приветствует в своем доме офицеров, посланных на усмирение, он их угощает — пусть слабый, но все-таки аргумент в пользу его патриотизма. А для чего? Сына прикрыть. Вблизи батарея, сотни солдат, опасно, могут схватить, а знакомство какую-то надежду подает на милость. Но все равно беда случилась, пришла с другой стороны. Впустую прозвучал салют, и кухарки постарались зря: сына нет, он застрелился.

— А вот твой приятель, что взят в плен, его Август звать?

— Август, — подтвердил Иван.

— Так он считает, что Северина убили. Отчего так?

— Не мог Северин застрелиться, — сказал Иван. — Он знал, что мы его ждем, а Северин был крепкий на слово.

— Ты говоришь, что они в усадьбу пошли. А почему ты не ходил?

— Мне нельзя, меня там знают. Быстро бы исправнику донесли. А он — сразу за батьку. У него везде свои люди. Ему и поп доносит, и корчмарь, и слуги володковичские. Какой-то гад и нас выследил. Мы утром гадали: кто Северина убил.

Думали — исправник. Он кого хочешь убьет. По нем давно осина тоскует. Виктора расстрелял. Август у попа в сарае сидит... Вчера четверо нас было, сегодня — один я...

— А ты хочешь приятеля спасти?

— Хотеть-то хочу. Но как?

— Я помогу тебе, если не побоишься.

— Да уж не побоюсь.

— Ну, тогда так договоримся. В полночь ты с тыла к сараю подберись, и как услышишь, что я с караульным говорю, так и приступай. Крыша соломенная, легко можно залезть. Там, с правой стороны, под самый верх сена. Только нож возьми от веревок освободить. Но такое тебе условие: как уйдете из сарая, так приходите сюда. У меня к твоему приятелю есть разговор.

— Даст бог сбежать, — ответил Иван, — придем.

XVI

Двумя часами позже я и Шульман шли берегом реки, и он говорил:

— У вас счастливый вид, я этому доволен, потому что на построении вы были бледны, как призрак отца Гамлета. И правильно сделали, что перебороли себя. Хотя вами избранный способ — способ внутренних раздумий, на мой взгляд, далеко не хорош. Гораздо проще и полезнее для нервной системы гасить душевные пожары вином, как поступаю я. Единственный недостаток — голова утром болит. Ну, так на то анальгин есть. Ситуация, в которую мы вовлечены августейшим повелением,

скверная. Мне, разумеется, легче дышать. Я — врач, меня в прямые акции втянуть не могут. Но хоть и в арьергарде, а все равно невесело. Да что поделаешь, Петр Петрович, коли бессилён и мнение наше никто не спрашивает.

— Бог с ним, со спрашиванием, — сказал я. — Это малая была бы беда. Куда хуже, что единомышленников нет. Разве толкали в шею командира посылать отряд? Он, видите ли, совестится долг верности не исполнить. Этакая важность — двоих мятежников увидали.

— А совсем не дурной человек, — сказал Шульман.

— Вот это и странно, — согласился я. — Не злой, к солдатам благорасположен, любит батарею, участвовал в боях, и не скажешь, что глуп. Но о какой-нибудь чепухе — как немцы колбасу коптят — весь вечер готов проговорить и во все тонкости проникнуть, а заведите речь о политическом вопросе — полное нежелание рассуждать: государь знает, что делает, — вот и весь будет ответ, вся мыслительная деятельность. Ну ладно, крестьяне — люди темные, умеют считать — уже молодцы. Но из обеспеченных семей люди: те же книги читали и вы, и я, и уездный исправник, а он убил человека — и хоть бы в глазах потемнело, нисколечко — рад. Объясните мне, доктор, отчего по-разному укладываются в умах знания, почему образованность не служит на пользу душе?

— Нет, не знаю, Петр Петрович, — сказал Шульман. — Тайна эта за семью печатями для меня. Но в одном уверен: исправить это, увы, увы! — бесполезная мечта. Я не очень силен в истории, но, насколько помню, за все века не случилось

хоть одно победившее восстание. Два движения столкнутся, с обеих сторон самые крепкие люди один другого перережут, а к власти выныривают третьи. Так во Франции получилось. Хотели Свободы, Равенства и Братства, а выскочил Бонапарт. Умному человеку, если хочет спокойствия, надо пристроиться при добром деле и от многого отгородиться. Вот вернемся из похода — я в партикулярную медицину. Все, отработка моя кончается, ничего более академии и ведомству я не должен — буду вольный казак.⁶ А вам, мне кажется, в учебное заведение надо переходить. Вот бы в Михайловское или в ваше родное Константиновское. Станете преподавать молодежи... ну, не знаю что, историю артиллерии, например. Задумайтесь, а, Петр Петрович?

— Отгородиться! У меня не получается, — сказал я. — Пробовал, грезил в Публичной библиотеке над книгами. Казалось: совести моей вполне достаточно для честной жизни. Но вот недостало. Будь больше решимости, уверен, и юноша был бы жив. Что стоило под видом рвения отвести отряд в сторону, затеять пустую пальбу — мятежники и бежали бы спокойно. Как мне теперь от этой мысли отгородиться?

Меня подмывало рассказать лекарю про спасение мельникова сына и план ночного бегства Августа. Бесхвастовства неустанно меня понукивал: ну, скажи, скажи, пусть не думает, что ты только в уме молодец... Но суеверный страх не позволял говорить: вдруг сглазит своими советами и опасениями. И не хотелось нагрывать его совесть сведениями о деле, к которому он должен быть причастен. И с моральной

стороны, думал я, такая откровенность ничем не оправдана: словно я страшусь в одиночку, словно и его хочу втянуть, пользуясь добрыми склонностями. Вот будет сделано, тогда и признаюсь.

— Вам, Петр Петрович, действительно не место в военной службе, — говорил Шульман. — Конечно история убийства с помощью ядер — не лучший предмет. Ведь как все несправедливо: в университетах профессора — это подлинные штабс-капитаны и полковники, а не профессора. Вот бы: им — ваш мундир, вам — их профессорскую мантию. И они пришли бы ко двору в батареях, и вам стало бы хорошо.

— Шутите, Яков Лаврентьевич, — сказал я. — Куда мне в профессора, мне хотя бы в архивариусы попасть, так и это не удастся. Прикован я к пушкам до выслуги лет. Годков через пять буду батарейный командир, а там, может быть, война случится, до генерала доберусь и стану старый служака, отпетый балбес. Не люблю жаловаться на судьбу, но вот пожалуюсь. Я военное поприще не сам избирал. В отрочестве мне мечталось стать хранителем книжных сокровищ, архитектором или летописцем в древнем монастыре, и никогда — военным. Мы жили в Гродно, часами просиживал я у стен Коложи или бродил по берегу Немана, глядя на противоположные холмы и располагая на них дворцы, библиотеку, мраморные спуски к воде и прочие разности, что кажутся красивыми в детстве. Если будем в Гродно, я покажу вам места, где должны были стоять мои творения. Впрочем, вряд ли я решусь посмотреть на эти холмы. Взгляд мой мимо

воли оценит их со стороны удобства для бомбометания, и мне будет тоскливо, что мечты мои не осуществились. Отец не пустил бы меня в армию, но он рано умер, пенсия была мизерной, два года мы терпели в крайней нужде, и матушка повезла меня в Петербург — устраивать судьбу.

— И поступила разумно, — сказал Шульман.

— Возможно, — ответил я. — Но жалею об этом. Уж лучше бы я сам устраивался, учился бы на семи рублях стипендии в университете — и был бы счастлив. Подруга матушки приняла участие, а муж этой подруги оказался — вот вам судьба! — не архитектор и не летописец, а уланский полковник. Он решительно определил меня волонтером в Дворянский полк. После Севастопольской обороны подавал в отставку — отказали, и я пошел в Артиллерийскую академию. Так что, Яков Лаврентьевич, с горьким сознанием доживаю двадцать восьмой свой год. Карьера меня не занимает, заняться, чем душа велит — не могу. А мне до смерти надоело думать одно, а говорить обратное. Да разве говорить? Делать приходится. К нашему горю, если не к ужасу, все мы честные, но тихие люди, похожи на того французского кюре⁷, который до последнего вздоха исправно вел свой приход, служил все службы и учил любви к Христу, а по смерти оказалось, что он и в бога не верил, и смеялся над Святым писанием, и жаждал свержения монархии .

— К сожалению, ничего не читал об этом человеке, но ответчу вам: он мудр и прав. Намного приятнее проводить вечера возле камина и, попивая вино, посмеиваться над

бестолочью религии, чем гореть на костре под улюлюканье дураков. Пасть жертвой невежества — что может быть обиднее?

— Жизнь, конечно, каждому дорога, — ответил я. — Но есть люди, которые ставят совесть выше благ и выше жизни. И недалеко за примером ходить. В полках первой армии многие офицеры сочувствуют мятежникам. Они и до восстания отличились: письма посылали в «Колокол», солдат просвещали, из их числа и расстреляны были трое за подучение нижних чинов к бунту. Они и в генерала Лидерса стреляли и великого князя пытались убить⁸. А местного происхождения офицеры большим множеством ушли в отряды. А кто не ушел, конечно же, препятствует усмирению.

— Ну, немного они напрепятствуют, — усомнился Шульман.

— Сколько бы ни делали, а все против. Вот в Минском полку все командиры рот в один день сказались больными и подали в отставку, чтобы в экспедицию не идти. А Галицкого полка какой-то капитан напоил допьяна роту, сорвал операцию и ушел к мятежникам. И правильно. Не то, что я, — помог человека убить. Даже в кавалерийских полках нашлись добрые люди. Недавно встретился мне знакомый майор-драгун. Он — член военного суда. Так он рассказывал, как они заседают: дружески с мятежниками беседуют и составляют такой протокол, по которому следует минимальное наказание. Десятки людей спасли от виселицы.

— Дай ему бог здоровья! — сказал Шульман. — Отчего

же не помочь человеку, если есть возможность. И я готов. Но сколько таких случаев? Ну, перешло к повстанцам сто, пусть триста человек — капля в море. И восстание задавят, и этих людей убьют. Нет, мало толку в восстаниях, потом на десять лет жизнь замирает, а жандармскому корпусу содержание увеличивают. Есть нетерпеливцы, думают за десятилетие вековые уклады перевернуть. А жизнь тихо плывет. На смену славным именам приходят негодные, и опять приходят славные. «Золотой» век сменяется мрачным и вновь «золотым». Но что мне до того, если через лет тридцать меня не станет. Надо сейчас себя проявить. Я уверен: нет важнее дела, чем развитие просвещения и медицины. Будут люди умны и здоровы — само собой все устроится.

Я перестал спорить. Мне неловко было возражать. Медицинская профессия в любых обстоятельствах делала жизнь Шульмана полезной. Мое же занятие имело смысл лишь при обороне границ, которые никто не рисковал переступить. Та же Севастопольская кампания была спровоцирована желанием вернуть православному миру Константинополь. Так что, думал я, совесть больше, чем он, я и предпринять обязан большее. Ведь спроси сейчас лекарь: «Что же, Петр Петрович, не действуете согласно мыслям?» — мне нечего будет ответить. Что делать? Вкупе с кем? Вот пленного мятежника хочу спасти, так разве заслуга, — сам и сцапал руками солдат.

XVII

Близко к полуночи я, захватив в свидетели фельдфебеля,

прибыл на поповский двор. В избе уже спали. Ночь была лунная и тихая — только ленивый перебрех собак изредка нарушал тишину. У сарая нес караул молодой канонир, который, завидя нас, стал «смирно».

— Как, братец, пленный? — спросил я.

— Напевал еще недавно, — сказал солдат. — Может, уснул.

— Ну-ка, поглядим, чем он занят.

Солдат снял запор, фельдфебель зажег свечу, и мы все вместе вошли в сарай. Мятежник, с теми малыми удобствами, что позволяли связанные за спиной руки, лежал на сене.

— Нельзя ли распорядиться по-иному меня связать — спросил он. — Руки окаменели. К утру отвалятся.

— Не положено, — ответил я. — А до утра уже близко. Вы мышей, котов не боитесь?

— Остроумие ваше изрядное, — сказал пленный. — Вы, что ж, пришли мне мышь за пазуху посадить? Или кота в товарищи принесли?

— Ни то и ни другое. Это на тот случай вопрос, чтобы вы не шумели по мелкому поводу.

— Я всего от вас ожидал, — ответил мятежник, — но про мышей совершенно не ожидал.

— Вы многого не ожидаете. Ну да спокойной ночи.

— Привяжите-ка его еще и к столбу, — сказал я.

Фельдфебель, передав мне свечу, добросовестно исполнил приказ.

Мы вышли во двор, солдат запер сарай на замок, я задул

свечу. Теперь мог действовать Иван.

— Набери, братец, воды, — попросил я караульного. —
Пить хочется.

Солдат, взяв ружье на ремень, поспешил к колодцу. Заскрипел журавль, ударилась о воду, утонула бадья; солдат потянул очеп вверх, звонко заплескала вода. А от сарая никаких звуков не долетало.

Взяв с плетня жбан, я напился и стал спрашивать канонира: откуда он родом? Кто родители его? Давно ли в батарее? Как нравится ему в артиллерии? Доволен ли своим командиром (это был васильковского взвода солдат)? Не обижают ли его старослужащие?

— А что, Федотыч, — повернулся я вдруг к фельдфебелю. — Зачем нам здесь караул? Разбойник привязан накрепко, веревки толстые, не перегрызет, скорее зубы спилит, а людям из-за него одно мучение. Так что ты распорядись следующим — пусть спят, я этот караул снимаю.

— Оно и верно, — согласился фельдфебель. — Бежать ему невозможно. И дверь закрыта на замок. Ну, так ты иди, — сказал он молодому.

Тот радостно заторопился на свою квартиру.

Рассердится утром подполковник, подумал я. Бегать будет, кричать, Ну, да ничего, пошумит, пошумит и стерпит. Не под суд же отдавать полубатарейного командира. Выкричится и объяснит побег служебным недосмотром. Это вот солдатику пришлось бы скверно, живьем бы съел его Оноприенко, а мне скоро простится.

Мы с Федотычем еще проговорили несколько минут, а затем я сел на Орлика и уехал.

Вскоре я сидел возле плотины. Шумела вода, отблескивал в лунном свете пруд. Душа моя ликовала. С нетерпением слушал я тишину, ожидая сигнала. Но только спустя полчаса на противоположном берегу прозвучал легкий свист.

Мы встретились.

Счастливые мятежники пустились рассказывать свои приключения: и как Иван пластом лежал у плетня, и как влез на сарай, и как серпом резал солому, и упал к Августу, как Август растерялся, и как пробирались кругом деревни, боясь пикета — обидно было бы, покинув сарай, вновь туда вернуться.

— Мы обязаны вам жизнью, — сказал Август. — Будет случай — расплатимся. И прошу извинить меня — я был несправедливо груб, но я и думать не мог... Вы хотели поговорить. О чем?

— О Северине Володковиче. Днем вы сказали, что я сочинил бумагу, будто он сам себя убил...

— Я не повторю своих слов о том, что вы сделали это с целью. Но бумага написана, и нам странно. Видите ли, есть вещи, которые не могут оставить безучастным честного человека, каких бы политических взглядов он ни держался.

— Безусловно, есть, и много, — согласился я.

— Северин был нашим товарищем и моим близким другом. Вам, разумеется, это все равно. Но дело вот в чем. Мы убеждены, что вчера вечером его убили. А вы и другие офицеры подтвердили факт самоубийства, и уже никто эту

выдумку не опровергнет.

— Насколько я понял обстоятельства, ваш друг стрелялся из-за несчастной любви, — сказал я. — Какая-то девушка отвергла его предложение.

— Единственная дама, которую он горячо любил, называется Отчизна, а она его не отвергала, — произнес мятежник. — Никому другому Северин свое сердце не предлагал. Но кто сказал вам про любовь?

— Господин Володкович объяснил так исправнику.

— Это можно понять, — сказал Август. — Не мог ведь отец признаться исправнику, что его сын — повстанец.

Иван, простодушная физиономия которого оборачивалась то в сторону приятеля, то ко мне, на этих словах сообщил:

— Лужин знает.

— Что знает?

— Что Северин ушел в отряд.

— Откуда же ему знать?

— А он все знает.

— Почему же он отца не трогает?

— Володкович — богатый. Откупился.

— А зачем Северин пришел домой? — спросил я Августа.

— За деньгами. Без них, сами понимаете, сколько неудобств, а нам надо уехать. Наш отряд разбили, мы две недели добирались сюда — везде войска, стража, посты казачьи: всю армию сюда стянули — и позавчера пришли. Северин пошел к отцу, был в усадьбе час. Старик наличными денег не имел, сказал прийти завтра. Вчера около семи

Северин отправился на свидание, и больше мы его не видали.

— Но кто мог его убить, если это убийство? — спросил я.
— И зачем?

— Непонятно! — ответил Август. — Мы думали — исправник. Вы утверждаете, что не он.

— Не он, — повторил я. — Физически не мог. Да и выглядело это как самоубийство.

— Имитация, — сказал Август. — Тут необходимо следствие, а нам носа не высунуть. От петли едва ушли — благодаря вам. Не стрелять же без уверенности. А убийце радость — закрыло его это свидетельство.

— Ну, что ж, — сказал я. — Попробуем разобраться. Вы утром были в усадьбе?

— Был.

— И виделись...

— С Михалом. Он тоже сказал — застрелился. Но он, я чувствую, счел нас вымогателями, поскольку я вспомнил о деньгах, то есть не просил, но сказал, что Северин шел за деньгами.

— А зачем вы ожидали его на холме?

— Он обещал, что узнает о деньгах, и вообще побеседовать. Мы в усадьбе едва ли пять минут пробыли — исправник околачивался.

— Выходит, кроме Михала, никто не знал о месте встречи.

— Никто, — ответил Август. — И я думаю: не Михал ли Лужину подсказал?

— Но и Михал не мог застрелить, — сказал я. — Он возле меня сидел. Хорошо помню. А в какое время Северин пришел в усадьбу? Где вы поджидали его? Как долго? Видел ли вас кто-либо?

— По моим подсчетам он пришел к отцу без четверти семь. Мы с Иваном были в лесу. За прудами, если вы заметили, растет кустарник, за ним луг, а за ним лес — вот в этом лесу. Мы пробыли там до девяти. Не думаю, что нас могли видеть, мы были очень осторожны.

— А вы не помните, — спросил я, — Северин летом своих родных навещал?

— Нет, не выпадало.

— Ну, а письма, просьбы с оказией, приветы?

— Да какая там оказия! Впрочем, все могло быть, но я не припоминаю.

— А прежде вы бывали в доме Володковичей?

— Нет, никогда, я не знаком с ними.

Плохо, подумал я, значит, ничего о домашних Северина ему неизвестно. Но если и бывал бы в доме, что с того? За полгода переменились многие люди круто: кто был добр — обозлился, кто был склонен к подлости — вконец оподдел, кто прежде повстанцам «ура!» кричал — теперь боится сухую корку подать.

— Август, мне вот что непонятно, — спросил я. — Северин — помещичий сын. Какой пользы он ожидал от восстания?

— Свободы! — сказал Август. — Мы хотели свободы и

правды!

— Свободы без имущества не бывает, — возразил я.

— Думалось так: крестьянам достаточные наделы земли без выкупа в полную собственность и всем равные права в республике.

— Отчего же крестьяне вас не поддерживают⁹, не идут в отряды?

— Как же не идут. В нашей партии половина были крестьяне.

— А помещикам что республика обещает?

— Не о них забота, — сказал Август. — За малым исключением — все они кровососы, до такого невежества довели людей, что своей пользы не понимают. Вы говорите, в отряды не идут. Ведь запуганы, прибиты, обмануты, боятся. И оружия нет. С косою против войск — дело пустое. Выследят отряд, стрелки, драгуны окружают — в плен не берут. Я сам видел людей — по десять-пятнадцать штыковых ран в теле. Звери! — сказал Август. — В последнем бою нас преследовали две стрелковые роты Ингерманландского полка и казаки. С трех сторон двойная цепь, с тыла — болото. После шести атак мы стали отступать. А некуда — голое болото, вода выше колен, кочки и ямы. Они расстреливали нас в спины. Кто пытался помочь раненому товарищу, привлекал рой пуль и падал сам. Люди захлебывались водой. Кто из раненых просил о пощаде, в того вонзали штыки. Я это видел, и Северин это видел... За болотом начинались кусты. Здесь мы встретили цепь залпом и схватились врукопашную. Все остервенели. Дрались штыками

и прикладами, у кого не было ружья — бил ножом, душил солдат руками. Из наших двух plutonгов осталось в живых всего девять человек...

— А сколько вас было? — спросил я.

— Было много. Было сто тридцать шесть.

— А пришли сюда вчетвером?

— Пришли вчетвером, и двое тут погибли. Убиты! — сказал Август.

Мы замолчали, не зная, о чем далее говорить.

— Что ж, прощайте, — сказал я. — Желаю удачи.

XVIII

От враждебных сторон при ведении боевых действий нельзя ожидать человеколюбия. Да и как может быть место рыцарству, если цель боя и направлена на физическое уничтожение противника. Трудно упрекать солдат за жестокость; страх смерти, напряжение духа, гибель товарищей напрочь отбивает у них рассудительность и доброту. Но пределы беспощадного отношения к противнику существуют; их обязаны устанавливать офицеры, а для последних — высокие воинские начальники, отчужденные от личных переживаний в боевых стычках. В севастопольских рукопашных боях никто не подымал раненых французов на штыки, такой поступок вызвал бы осуждение. Но почему-то внутренние враги вызывают большее озлобление, чем внешние; к ним разрешается применять самые свирепые меры и кровожадность приветствуется. Строгий приказ «Брать в плен»

обуздывает лиц, склонных к безнаказанным убийствам. Наоборот, спущенное сверху разрешение «Убивать без пощады» — развязывает у непосредственных исполнителей звериные склонности.

Кровавое подавление восстания было определено уже тем, что главное в этом деле лицо — самодержец, царь Александр II — сочетало в себе глупость, трусость и жестокость. Мой осведомленный приятель рассказывал, что государь император повелел считать подавление мятежа войной и распорядился записать в своем послужном списке: «Участвовал в Польской кампании 1863—1864 годов». Соответственно, карательные действия войск стали трактоваться как боевые, и кто сомневался в правоте своих поступков — сомневаться перестал.

Но и в царском окружении разные были люди: одни — совестливые и с умом, другие — глупцы, третьи — с умом, но записные убийцы. Из последнего разряда царь и призвал себе помощников. В Западный край поехал с особыми полномочиями генерал от инфантерии, генерал-губернатор граф Муравьев. Прирожденный палач дорвался до работы и в течение года исполнил то, что не успел осуществить тридцать лет назад будучи гродненским генерал-губернатором. Подвластные ему шесть губерний превращены были в бойню. Каждые два дня совершалась смертная казнь через повешение или расстрел, каждый день двое шли в арестантские роты, трое — на каторгу, тридцать человек — этапным порядком на поселение в Сибирь. Для репрессивной акции достаточно

бывало ложного доноса. За короткий срок все оппозиционное режиму население края было либо физически истреблено в столкновениях, либо лишено прав и выселено. Выселению подверглось и множество лиц, не причастных к восстанию, единою виной которых оказалось католическое вероисповедание. Тысячи людей эмигрировали. Двое из них — не без моей помощи, и сознание этого мне приятно.

К месту будет вспомнить одно переживание, случившееся со мной несколькими годами позже. Тогда мне попался на глаза в книжной лавке тоненький альбомчик в синем переплете, на котором золотом оттиснуто было: «История царствования императора Александра II». Я его раскрыл. Внутри помещался буклет цветных литографий пояснявших в художественной форме главные для нашей истории дела самодержца — «Севастопольский мир», «Покорение Кавказа», «Приобретение Амура», «Освобождение крестьян» и еще кое-какие. На самой последней картинке увиделось мне знакомое лицо, пригляделся — Август Матусевич. Я ахнул. Изображен он был поверженным на землю, над ним стоял солдат, левою рукою отнимал ружье, а правой вонзал в живот пехотную полусаблю. Сабелька была отпечатана серебряной краской. В отдалении на зеленом фоне — надо было думать, что в лесу — группа солдат стреляла в группу повстанцев дикого вида, из которых кто падал, кто убегал, кто поднимал вверх руки. Подпись внизу объясняла: «Усмирение мятежа в Западном крае».

Сходство убиваемого полусаблями с Августом настолько

меня поразило, что я тут же взял извозчика и поехал к издателю, а от него, узнав адрес художника, — к художнику. Хоть я и понимал, что художник не мог рисовать с натуры, что он нарисовал мятежника вообще, что подобие лиц — случайность, но мне не терпелось удостовериться. А вдруг думал я, вдруг Август после нашего прощания примкнул к другому отряду и в какой-либо стычке погиб именно так — от удара солдатской сабли в живот, и его смерть случайно наблюдал будущий создатель картинок, запомнил облик несчастного и сейчас изобразил?

С таким вопросом я и обратился к художнику. Он меня утешил. «Да что вы, господин любезный, — улыбнулся он. — Я в тех краях и не бывал никогда. Да и не то вовсе лицо я рисовал. Открою вам по секрету — прообразом послужил мой тесть, но, к сожалению, он себя не узнал, потому что типографы нагрешили — краски у них как-то неудачно легли».

Ну, слава богу, что случайность, радуясь, думал я. Может быть, и жив Август. Обитает где-нибудь в Риме или Париже. И мельников сын вместе с ним. Может, вспоминают иногда обо мне; только не знают они, что я им завидую.

Но в ту ночь — ночь побега — я им еще не завидовал. Я лежал на сеннике и, слушая запечного сверчка, радовался удаче доброго дела.

XIX

Утром в восьмом часу я был разбужен мрачайшим Федотычем. «Командир вас завет, ваше благородие, — говорил

он мне. — Злится больно». — «А с чего он злится? — спрашивал я, во весь рот зевая. — Голова болит со вчерашнего или что там?» — «Да кабы голова, — говорил фельдфебель. — Сбежал, враг его побери, этот, пленник-то привязанный». — «То есть как сбежал? — спрашивал я, поднимаясь. — Куда же он мог сбежать?» — «А бес его знает куда. Только пришли утром в сарай — пусто, даже веревки нет. Все сено тесаками перепороли — думали, прячется. И след простыл. Словно черти его уволокли. Вы уже не сердитесь, Петр Петрович, пришлось сказать, что по вашему приказу караул снят, а то уже совсем был готов солдатика того растерзать». — «Ну, и правильно, — сказал я. — Так и было. Скрывать не собираюсь. Сбежал. Экий, однако, хват. А ничего не натворил?» — «Слава богу, обошлось, — отвечал фельдфебель. — Вот уж было бы беды».

Я оделся, умылся, и мы поехали к командиру.

Подполковник Оноприенко, заложив руки за спину, нервно ходил возле крыльца.

— Что же это вы, Петр Петрович, господин штабс-капитан, натворили? — сказал он мне зло. — Как вам, опытнейшему офицеру, на ум пришло пленного без караула оставить? Сбежал- мятежник, да-с, изволил бежать.

— Трудно поверить, — сказал я, изображая горе и недоумение. — Ведь спеленали веревками — шевельнутся не мог.

— Дитенка нашли! — взорвался командир.— Спеленали! Вот вам и пеленание. Позор! Всею батареею одного — одного! — пленника не смогли удержать. Как прикажете объяснить,

кого наказывать?

— Тут я, безусловно, виноват, Виктор Михайлович, — сказал я и добавил твердо: — Наказания достоин, господин подполковник, и прошу о нем.

— Прошу, прошу. Что мне с просьбы. Ну, зачем, зачем было караульного отпускать! И стоял бы пусть.

— Так связали намертво, Виктор Михайлович. И ворота были на замке.

— На замке! — хмыкнул подполковник. — А что ему ворота, он ведь не в коляске выезжал. Через крышу ушел. Видно, не обошлось без сообщника. Был бы караул — и приятеля рядом посадили.

— Как знать, — робко возразил я. — А коли закололи бы солдатика? Они на все способны.

— Караулил бы по уставу — не закололи бы, — сказал, но без уверенности, командир. — Ну, пойдемте в дом, господин штабс-капитан.

Мы вошли и, затратив полчаса на составление записки, объясняющей побег, решили предать случай забвению.

Настроение мое было приятное, но для полной радости требовалось снять чувство вины за легкомысленное свидетельство о самоубийстве Северина. Володковичи, по моему мнению, не могли верить в самоубийство — повода Северин не имел. Съезжу-ка к ним, решил я. Появиться в усадьбе я вправе, а по правилам приличий и должен — сочувствие привезти.

Скоро я рысил по знакомой с позавчерашнего дня дороге

в усадьбу Володковичей. Становился погожий день бабьего лета. Воздух, после ночи прохладный, приятно освежал грудь. Я ни о чем не думал; красивые пейзажи открывались мне и радовали, как некогда в детстве: то стерня бежала мимо, то зеленело на буграх маленькое поле льна, то заросшая уже пожухлой травой уходила далеко вдаль лощина. Полевая дорога перешла в лесную — дернистую, перекрещенную корнями. И слева и справа ель сплетала кроны с сосной, рядом рябина тянула к небу свои ветви; папоротник и черничник прикрывали землю узорным ковром; вдруг открывалась круглая поляна, а дальше лежал поваленный бурей великан; вдруг угрожала накренившаяся над дорогой сухостоина; вода блестела в маленьком роднике; вдруг спугнутая шагом Орлика пролетела по воздуху белка, сорока уносилась в глубь леса; и на каждом дереве кто-то жил, пел, стучал, насвистывал...

Вскоре мне увиделся развилок и крест, срубленный из толстых брусьев. Лесник ли его поставил, подумал я, или крестьяне вкопали отпугивать нечисть? Вот и душа Северина, подумал я, прилетит сюда в звездную ночь погрузить; увидит ее одинокий путник, и оборвется его сердце.

И вдруг мне открылась возможная причина убийства Северина. Я даже опешил — настолько она была возможна. Его убили с целью грабежа, подумал я. Вот и отгадка. Отец вручил ему деньги, он покинул дом, шел парком — и здесь некто выстрелил ему в грудь. Затем убийца отволоч тело в беседку, вложил в руку пистолет и скрылся. Так вот, решил я, если Северин от отца деньги получил и с родными распрощался, то

каким-то таким образом совершено преступление. Тогда свидетельство надо переписать. А розыск убийцы меня не касается. Это Володковичей интерес.

С такой мыслью я въехал в ворота усадьбы.

XX

В гостиной, где лежал Северин, было несколько людей, но никого из Володковичей. Встретившаяся мне служанка объяснила, что пан Володкович в парке, а брат и сестра находятся в своих комнатах на втором этаже.

Я пошел в парк. Главная аллея, по которой слуги несли в дом самоубийцу или убитого (кого все-таки?), была пуста. Я вышел к прудам. По-прежнему плавали тут лебеди, солнце отблескивало в воде, так же спокойно покрывала круглый пруд ряска, а ивы ничуть не опустили свои ветви к воде. Был человек, нет его — какое до этого дело природе, вздохнул я, новые придут, все забудется и сотрется. Я стал обходить пруды по узкой тропе. В десяти шагах от нее я заметил замаскированный кустами сарай, и скорее не сарай, а будку. Хозяйство птичника, подумал я и направился проверить свое предположение. Оно оказалось верным: мешок зерна, ковши на длинных палках, сеть с мелкими ячейками, косы для косьбы водорослей — таковы были хранившиеся здесь предметы.

Завершив круг, я, некоторое время постоял на пороге беседки, рассчитывая место, на котором Северин должен был стреляться, чтобы упасть так, как мы его застали. Выходило, что он стоял на пороге спиной к пруду. Я счел это за

странность.

Я стал думать, случайно нас пригласили в беседку или нарочно? Меня и Шульмана привел туда Михал, остальных — Людвига. Лебеди, ряска, беседка — место, конечно, красивое, не грешно похвалиться. Однако не здесь все завязалось. Мы с Васильковым стояли у корчмы, мимо нас проехали Володковичи — один мрачнее другого. Это было в шестом часу. А спустя пять минут Володкович радушно приглашает офицеров в усадьбу... Он покоряет любезностью командира, панна Людвига очаровательно улыбается, Михал... ну, что, Михал... тоже, верно, потеплел... А с чего бы им радоваться?.. Итак, вот что важно, что все в усадьбе узнали — придут офицеры, будет ужин, гуляние по парку... Нас стали ждать, о нас стали думать, на кухне щипали уток и кур, в котел кинули раков, приготовили виват...

Господина Володковича я нашел в аллее, где росли обнявшиеся ели. Я сказал необходимую фразу о сочувствии офицеров батареи горю его семьи. Несчастный отец принял ее наклоном головы.

Минуту мы молчали. Я испытывал неудобство задавать любопытные мне вопросы. Он все знает сам, думал я. Что ему от моих слов, от моего вмешательства в семейную их беду. Никакие разговоры, никакие меры сына не воскресят. Друзья сына по отряду должны быть ему неприятны; я как офицер армии, подавляющей восстание, неприятен ему вдвойне. Да он и не рискнет со мной, незнакомым человеком, откровенничать. Однако, в противоположность таким здравым рассуждениям, я

сказал:

— Господин Володкович, вчера нами был схвачен мятежник — знакомый вашего сына, который потрясенно переживал его трагическую смерть. Ночью сегодняшней он бежал.

Володкович недоуменно посмотрел на меня, и я кратко изложил ему свои сведения, не решившись, однако, сказать, что подозреваю возможность убийства.

Господин Володкович долго вглядывался мне в глаза и наконец предложил:

— Садитесь!.. Я не знаю, что вы за человек, — сказал он. — Вы владеете знаниями, передача которых властям может окончиться для нас Пермью или Тобольском. Поэтому я вас прошу войти в мое положение. Все, что я мог сделать для Северина, я сделал: вырастил, воспитал, отправил в столичный университет. И там он жил не в нужде, поверьте. Будь он со мной, я следил бы и за его духовным становлением, удерживая от крайностей, от дерзких мыслей, но там на него влияло землячество: вольнодумные беседы, желание изменить образ жизни людей — это болезнь студентов; на пять лет они вместе, они равны, им кажется — все могут быть равны. Я надеюсь, вы поймете, что над такими процессами отец, живущий в медвежьем углу, не властен.

Я молча согласился.

— А как зимою началось восстание, — продолжал Володкович, — и нет, уже позже, в марте, Северин прислал письмо. «Назревают великие события, — писал он в письме, —

считаю, отец, что и Михал должен откликнуться. Благослови его, и пусть приезжает в Вильно. И денег ему следует иметь рублей триста на необходимые покупки». Это значит, — пояснил Володкович, — на оружие. Я и Михала не пустил, да он и сам был против такой поездки, слава богу, у него иные взгляды, и денег не послал. А послал по указанному адресу просьбу оставить гиблое дело, вернуться в университет, учиться, служить Родине мирным трудом. И с того дня по вчерашний от него нам ни ответа, ни привета не поступало.

— Сколько бессонных ночей было в эти месяцы, — сказал Володкович. — Гадаешь в темноте: жив? убит? в каземате сидит? обнимемся ли когда вновь? Ну вот, два дня назад и обнялись. Отвоевался мой сынок, добрел до родного дома, чтобы на моих глазах застрелиться. Уж лучше бы погиб в бою. Хоть и плохо так говорить, но все было бы лучше. Говорит: «Я уеду, отец, мне деньги нужны». Я дал Северину тысячу рублей. Мы попрощались с ним около семи часов. Зачем стрелял в себя? Где ходил три часа?

— А вот вы подымались звать Северина? — спросил я.

— Никуда я не подымался, — ответил Володкович. — Ни к чему. Я своими глазами видел, как он из усадьбы ушел. Это для Лужина говорилось. Я не понимаю, и как мне понять, что его толкнуло...

— А деньги?

— Что деньги? — переспросил Володкович.

— Вы дали ему деньги? Где они?

— Деньги! — тоскливо сказал Володкович. — Что мне в

них? Но вы правы, надо сказать, пусть посмотрят.

— Вот мы с вами поговорили, — сказал Володкович, — мне стало легче. Странно, в тяжкую минуту хочется говорить, другого человека приобщить к своему горю. И, право, легче, — повторил Володкович. — Вы, верно, добрый человек, и я вас прошу, ведь у меня еще двое детей...

— Не беспокойтесь, — ответил я. — О нашем разговоре никто не узнает.

XXI

На втором этаже было четыре комнаты: две — окнами в парк, две — на главный двор. Напротив лестницы в простенке между дверями висела картина в позолоченном багете, изображавшая бой шляхты с татарами. Всем татарам волею художника была придана отвратительная внешность, противники их, мало того что были прекрасны, все отличались богатырской силой — разваливали басурман надвое. Впрочем, и среди шляхты трое или четверо упали с коней, пронзенные стрелами, и в красивых позах умирали. Я вспомнил нашу кадетскую столовую, где за два года изучил до малейших деталей сражения наших войск с французами, шведами и освобождение князем Пожарским Москвы. Под воздействием трех этих картин я долгое время находился в уверенности, что войска других стран намного отличаются в худшую сторону от наших ростом, силой, благообразием и храбростью. Но будучи в пятьдесят девятом году в Париже, обнаружил, разглядывая батальные полотна, что отталкивающим обликом и слабостью

духа художник наделил наши полки, французов же наоборот представил отменными удальцами. «Такова сила искусства, — объяснил мне, потешаясь над моим возмущением, хозяин картин. — Кисть художника служит национальной гордости».

Какое-то время я постоял у патриотического произведения, сравнивая татарское и шляхетское оружие, а в особенности конскую сбрую, показанную с хорошим знанием.

В стороне проскрипела дверь. Я обернулся и увидел Михала. Мы поздоровались.

— Я к вам — сказал я и повторил то, что сказал ранее господину Володковичу.

Молодой человек пришел в сильный испуг.

— Господин штабс-капитан, — пролепетал он, — я вас молю, не используйте это нам во вред. И почему, почему мы должны отвечать за чужие дела?.. Я не беспокоюсь о себе, но отец, Людвига...

— Вы излишне боитесь, — сказал я. — И не надо об этом. А вы вот что скажите: сколько денег дал Северину ваш отец?

— Отец не совещался с нами насчет суммы, — ответил Михал. — Вернее всего, немного.

— Видите ли, Михал, — сказал я. — Если Северин взял деньги, то он не должен был стреляться, а уж коли застрелился, то и деньги целы.

— Какое это имеет значение? — спросил Михал. — Я не понимаю.

— Огромное. Мне не хотелось говорить вашему отцу — ему и без того тяжело, но вам я могу сказать. Вот мое

рассуждение: отец дал деньги — Северин покончил с собой — денег при нем нет — значит, их некто взял...

— Слуги? — сказал Михал. — Нет. При всем множестве недостатков наши слуги — честный народ. Но это легко проверить.

— Желательно проверить. Если денег в одежде Северина нет, то следует думать, что ваш брат убит. И второе. Как получилось, что вы, назначив свидание на Шведском холме, забылись явиться?

— Вам и это известно, — вздохнул Михал. — Ну что ж, я вам отвечу. Утром пришли двое мужчин, представились как друзья Северина и завели речь о денгах. А тут Лужин меня зовет. Вот и условились попозже встретиться. А потом мне стоило больших просьб выклянчить у отца триста рублей. В связи с этим и опаздывал. Приезжаю, гляжу, человека хоронят — того, что утром приходил. А второго, пристав сказал, живым схватили...

Михал замолчал, услышав шаги на лестнице. Появился слуга и сказал:

— Панич, вас завет отец.

— Обождите меня, — попросил Михал. — Побудьте здесь, вот моя комната — пройдите. Я скоро вернусь.

Еще слышался перестук его каблуков по ступеням, как отворилась дверь, возле которой мы беседовали, и на этаж вышла Людвиг.

— Я слышала ваш разговор, — сказала она. — О, не подумайте, что я подслушивала, это произошло случайно. Он

всегда был равнодушен к Северину. Они и денег пожалели. Им бесполезно говорить...

Ну, влип, с досадой подумал я,

— Мой брат боролся против вас, — говорила Людвига. — Я за него молилась, я просила молиться ксендза. В этом доме только мы были друзьями. Остались друзьями навек! Я не верю, что он ушел. Я не могу надеть траур. Господи, я готова отдать жизнь, чтобы хоть год, хоть один день побыть вместе... Еще день назад он был здесь, и было весело, и наш дом казался мне прелестным. А сейчас — место скорби... Отзвуки шагов брата... последних шагов... и страстное ожидание увидеть его тень... хотя бы тень... Вчера взяла стакан и вижу на дне отражение — Северин... Нам следовало остановить его, удержать, оставить дома, упросить, а получилось, что мы безразличны... это обидно для страдающего сердца... Ангел-защитник спасал брата в бою — пуля обходила его. Но и что? Легко ли ему было? Надо уходить, убегать на чужбину, в безыизвестность, из тех мест, где прошло детство и где нам, несмелым, негордым, благоприятствует судьба... Мы остаемся благоденствовать, а он должен мыкаться по свету, не имея крова и очага... Об этом не говорили — это чувствовалось, окутывало всех, как туман; дышалось тяжело, все были печальны... Он спешил уйти, потому что хотел остаться... Да, теперь я это понимаю... Но поздно... Вы сказали — Северин убит. Молчите! Молчите! — остановила меня Людвига, видя мое желание возразить.— Брат был волевой, деятельный, серьезный, он был герой. Ночами я не смыкаю глаз. Вы можете думать, что я не владею собой, что

мною движет несчастье, нервное потрясение, женская чувствительность... (Она не ошибалась, я думал именно так.) Нет, нет, только боль и любовь. Вы что-то знаете, чего мы не знаем. Скажите, кто, кто отнял его у нас?

— Людвиг, — сказал я отеческим тоном. — Не волнуйтесь. Вы неправильно поняли мои слова. Друзья Северина утверждают, что ваш брат убит, — сказал я, сознавая, что говорить об этом не следовало. Я смягчил грубость последней фразы, добавив: — Наверное, они неправы. Но если им на минуту поверить, то возникает мысль, что на вашего брата напали ради денег, напал тот, кто знал дом, привычки и правила семьи, местность. Кто-то из живущих в доме, — сказал я.

— В доме! — повторила Людвиг и лишилась чувств. Глаза ее закатились, она зашаталась, ноги у нее подкосились, и девушка рухнула на пол.

Я совершенно растерялся, стал нелепо метаться по этажу, вбегать в комнаты — воды не было; несколько раз воззвал: «Людвиг! Людвиг!» — и бросился вниз. На половине лестницы я сообразил, что слуг звать нельзя, что будет переполох; я проклинал свою разговорчивость и любопытство; но что-то следовало делать, и я кинулся обратно.

Людвиг приподнималась с пола. Я ей помог. Она стояла пошатываясь, прижав к лицу ладони. Затем она на меня взглянула, вскрикнула: «Как вы смели!» — и резко отшатнулась, при этом ударившись спиной о стену. Даже картина, на которой шляхта уничтожала татар, дрогнула.

Людвига жалобно простонала и повалилась на меня, а я, не придумав другого выхода, опустил ее на пол.

Тут, как назло, закрипели ступени, появился Михал и увидел эту безобразную сцену.

— Вы и ей не удержались рассказать? — спросил он хмуро. — Ах, господин штабс-капитан, по вашей милости отец еле дышит — в постель пришлось уложить; вот и сестрицу свалили. Этак вы нас быстрее замучаете, чем Сибирь. А деньги, я хочу сказать, в кармане оставались — проверили, никто не брал.

Спотыкаясь на ступенях я сбежал вниз, чуть не сбил с ног Красинского, стрелой вылетел из дома, вскочил в седло и вонзил в Орлика шпоры. «К черту! К черту! — говорил я себе. — Упаси меня бог от самоубийц, их сестер и братьев».

Все пять верст я промчал галопом, изморил коня и вошел в избу разбитый и злой.

XXII

Федор и мельник мирно завтракали за столом, центром которого, как Земля в системе Птолемея, служил пузатенький кувшин. «Пьешь?» — спросил я Федора. «Ваше благородие, отчего же нельзя? Праздник вчера был, в порядок надо прийти». — «Каков же ты вчера был? Лежал, верно, под забором, — укорил я его. — Хорош у меня денщик. Только я за порог — ты за стакан». — «Ваше благородие, что ж тут, капля, — не смутился Федор. — Для пользы же самочувствия». — «И в строй пойдешь сивухой дышать?» — «Не впервой», —

ответил Федор. «Нашел чем хвалиться», — сказал я. — Стыдился бы. Ну ладно, налейте мне».

Мельник вскочил, схватил с полки кружку и поставил на стол. Федор налил из кувшинчика мутную водку.

— Во имя Пречистой Девы! — сказал Федор.

— Во имя Девы! — повторил хозяин.

— О нет! — воскликнул я, вспоминая обмороки панны Людвиги. — Только не за Деву.

Водка была омерзительная, гаже я никогда не пробовал, но состояние мое сразу переменилось к лучшему.

Ну вот, конец приключениям, подумал я. Займусь делами. Днем отобедаем у Купросова — уж там никто не застрелится. Потом с лекарем в шахматы поиграем, а завтра в путь. Да и верно, чего лезть в чужую жизнь, на то исправник есть.

— Что, хозяин, — спросил я, — вы исправника боитесь?

— Кто ж его не боится, — отвечал старик. — Исправник — царь, что скажет, то и правда.

— А Володкович его боится?

— По теперешним временам и он должен бояться. Исправник скажет: помогал мятежникам — иди, докажи, что не помогал. И мстительный, гад. Тут недалеко околица Заполье есть, разорил полностью, чего-то наврал, написал, приехали казаки, разорили дома, кого разогнали, кого увели к черту на кулички. А ничего дурного те люди не делали — всем известно. Сам Володкович нельзя сказать что злобный; делай, что он скажет, и будет хорошо. А вот его отец, это значит, дед Северина, еще на моей памяти было, — тот любил расправу.

— А Северин чем их лучше?

— Он понимающий. Других людей хамами не считал. Но жизнь такая: хорошим людям бог мало отмеряет жить, негодникам — долго...

В этот момент до нас донесся бешеный топот коня, кто-то мчался, словно от смерти убегал, и стало ясно, что мчится он к нам.

Мельник поднялся к окну.

— Красинский! — сказал он вслух.

— А-а! — тоскливо протянул я, предчувствуя неприятность.

Стало слышно, как всадник осадил коня, соскочил на землю и бегом бежит в дом.

Господи, да не умерла ль она, подумал я, пугаясь.

Дверь распахнулась, в избу свирепо вошел Красинский.

— Вы... вы... вы — подлец! — выкрикнул он, заикаясь от злости. — Вы оскорбили мою невесту... Холопские сплетни, как сорока, носите...

— О чем вы кричите? — спросил я. — Успокойтесь поначалу.

Приглашение успокоиться привело Красинского в исступленную ярость.

— Я спокоен, сударь, — закричал он, наливаясь кровью. — Вы отлично понимаете. Я бы мог простить. Но вы унизили Людвигу, назвали убийцами всех...

— Вы что-то путаете, — возразил я.

— Это вы путаете, господин как-вас-там. И наглости есть

пределы, я их укажу.

— Убирайтесь вон, — сказал я. — Иначе я скажу денщику вас выгнать.

— Я вас убью! — завопил Красинский, шагнул к столу и швырнул мне прямо в лицо тряпичную перчатку, почему-то влажную.

Затем он повернулся на каблуках, выскочил из избы и, крича: «Ждите секундантов» — умчался.

— Ваше благородие, — вскочил Федор. — Да я сейчас в рот ему вобью эту гадость, — он схватился за саблю. — Да он ее сам сожрет. — И мой денщик кинулся к дверям.

— Назад! — закричал я. — Не сметь!

— Как не сметь? Петр Петрович, да вы что? — негодуяше говорил денщик, притопывая от нетерпения. — Вам в лицо, георгиевскому кавалеру, тряпки швырять. Да я его к хвосту привяжу и по стерне. Что ж, так и оставим?

— Это мое дело! — мрачно сказал я. — А ты заруби на носу: ничего не видел, не слышал, и слова никому не пророни. Как рыба. А вы, — сказал я мельнику, — тоже не вздумайте говорить.

Лицо мое горело. Мне хотелось остаться наедине. Я послал Федора прогулять коня. Хозяин поспешил уйти вместе с ним. Я поднялся и зашагал из угла в угол. Если бы идиот Красинский ограничился криками, то вызов его был бы мне просто смешон. Но швырок перчаткой... в лицо, как холопу... Привыкли, сволочи, оскорблять мужиков. Сходило с рук... Ну, не спущу. Попомнишь, негодяй, эту перчатку, свирепея думал

я. По-иному закричишь, как насажу на клинок...

Мысленно проколов Красинского не менее десяти раз, я успокоился и стал вычислять, когда придут секунданты. А их надо было найти, объяснить, убедить, и не каждый осмелится... Я решил, что появятся секунданты часа через полтора, самое раннее. Взяв лошадь Федора, я поехал к корчмарю, которого определил себе как самое осведомленное лицо из здешнего населения.

XXIII

Так же, как и позавчера, корчмарь при моем приближении выбежал к воротам, с таким же низким поклоном поздоровался, столько же детских лиц наблюдали за нами в окно. Я сказал, что хочу с ним побеседовать и что разговор наш будет секретный.

— И что секретного пан офицер хочет мне сказать? — спросил корчмарь.

— Сказать ничего не хочу, — ответил я. — Хочу получить некоторые сведения. Если они окажутся интересными, я заплачу.

Корчмарь испытал взглядом искренность моего обещания и, удовлетворившись, наострил слух.

— Где-то тут живет шляхтич Николай Красинский, — сказал я. — Он богат, беден, умен, глуп, добр — кто он?

— Если пан начальник спрашивает о женихе дочери господина Володковича, так я о нем ничего не знаю, — ответил корчмарь. — Что можно сказать о человеке, с которым не говорил и даже ни разу не выпил? Я знаю только то, что

болтают о нем люди. Если пану офицеру это интересно, так я расскажу?

Я согласился.

— Говорят, что отца у него нет, отец умер, а его мать — богачка, и он сам тоже богач, только еще молодой. А богаты они так, что пан Володкович перед ними такой же бедный, как я перед Володковичем, а я беден, как церковная крыса. А сколько у него в голове ума, — продолжал корчмарь, — знают только на небе, а на земле это для всех секрет. Вы меня понимаете?

— Почему же дочь Володковича стала его невестой?

— На этот вопрос я не могу ответить. Я не мудрый, нет. Я скажу вам правду — женская душа отличается от мужской, там все наоборот. Я не могу понять, как моя жена вышла за меня замуж, зачем всех этих детей она подарила мне, а не другому, более достойному, чем я. Как бедная девушка становится невестой богатого жениха, я не понимаю.

— Разве бедная? — уточнил я.

— В сравнении, — ответил корчмарь. — Если их положить на чаши весов, то Красинский будет вот здесь внизу, а дочь Володковича вон там вверху.

— У Володковича сын застрелился, — сказал я.

— Да, говорят, — ответил корчмарь.

— А правда, он участвовал в мятеже?

— Я мирный человек, я нигде не участвовал, — сказал корчмарь, — я там не был, своими глазами не видел, так говорят. Но если верить всему, что говорят, то ничему нельзя

верить.

— А исправник об этом знал?

— Исправник тоже живой человек, — ответил корчмарь, — а у пана Володковича достаточно денег, чтобы исправник любил их семью. Это не я так думаю, так пьяницы говорят. Вы меня понимаете?

— А что они говорят о Северине?

Корчмарь пожал плечами:

— Разве мужик понимает пана? Разве мог кто подумать, что старший сын Володковича застрелится? Да он сам любого мог застрелить. Но кто может знать, что зреет в молодой голове? Я не слышал, чтобы нормальный человек пускал в себя пулю... Не знаю, куда он ее пустил...

— В сердце, — сказал я.

— Ну вот, в сердце. Наверное, напился. Так люди говорят, — заключил корчмарь.

— А когда об этом говорили? Вчера?

— Вчера, вчера. У них был праздник. У них праздник, а у меня — ужас. Их праздник — мой страшный день. Надо все прятать: свиней в сарай, и корову в сарай, и кур, и сено, и солому — все на замок. Вон вчера подрались, поразбивали головы. Ну, хорошо, разбивайте себе, если так приятно, только зачем ломать мой забор. И вы думаете, так было раньше? Нет. Это после свободы. Что в первую очередь делает свободный мужик? Пьет. Панские мужики пили меньше. И болтали меньше. Вы меня понимаете?

Туманная форма ответов меня не очень удовлетворяла, но

говорить свое мнение откровенно корчмарь не стал бы и под ножом; и занятие его требовало лояльности: все слышать и никому не вредить. Возможно, только исправнику он отвечал по-иному. Впрочем, его мимика и жесты отличались содержанием, и будь я глухим, объяснили бы мне все не хуже слов.

— Второго брата, Михала, вы тоже знаете? — спросил я.

— О! Михал! Это будет хозяин. Он никогда не застрелится. Это ум. У него хватка. Это не Красинский, нет, не порох. Но пусть пан Володкович живет сто лет. Я плачу ему двести рублей, а пан Михал скажет — двести пятьдесят.

— Значит, Северин сделал брату подарок, — сказал я.

Корчмарь заинтересовался.

— Подарил ему и сестре свою долю наследства, — объяснил я.

— О да, о да! И горе приносит пользу. Он стал богаче. Это так. Теперь им хорошо, — сказал корчмарь. — Хорошо, когда мало детей и много денег! И я вам скажу: у кого мало денег, тому бог дает детей. И эти дети хотят жить, они не хотят стреляться. А у меня их шестеро, и я их люблю, — сказал корчмарь. — И поэтому сам часто хочу застрелиться или повеситься. Говорю вам открыто. Четыре дочки — это лучше в петлю, не знаю, зачем я медлю. Каждая хочет мужа, а мужу, вы думаете, нужна моя дочка? Нет, она век ему не нужна, ему нужны мои деньги, которых нет. Вы меня понимаете?

Я понял и дал ему три рубля, которые тут же, словно живые, скользнули в прорезь глубокого кармана, а из уст моего

собеседника полился поток добрых пожеланий. Наговорив их соответственно вознаграждению, корчмарь стал пятиться к дому, желая, верно, поскорее спрятать деньги в чулок.

Я тронулся в обратный путь. Речи корчмаря убедили меня, что Северин был убит. Странно, очень странно, говорил я себе. Господин Володкович смело сочиняет для исправника сказку о несчастной любви, господина Лужина эта небылица удовлетворяет... Могла бы удовлетворить, если бы Северин исчез... ну, под предлогом отъезда в столицу... Но уж коли он видит холодное тело и знает, что любовь не мучила Северина, то почему он слеп? Что удерживает его не искать убийцу? За молчание о предосудительных действиях Северина ему уплачено, Северин считается чист, чего ради заминать подозрительное дело? И кто донес о свидании на Шведском холме: Михал или господин Володкович? Ведь слуги о времени встречи не могли знать, а шпион за мятежниками не ходил.

XXIV

Я вернулся на квартиру и, ожидая посланцев Красинского, стал решать, кого из офицеров, помимо Шульмана, можно привлечь в свои секунданты. На такое приглашение откликнулся бы любой, но не каждый сохранил бы впоследствии тайну. Наибольшее доверие вызывал во мне прапорщик Васильков, но юный его возраст служил помехою для такой роли. Плохой будет ему урок. Я решил ограничиться лекарем. В молчании его сомневаться не приходилось, а в случае ранения он мог безотлагательно помочь.

Хочу отметить, что я не сомневался в исходе дуэли, то есть в своей победе. Вообще, мысли о смерти никогда не приходили мне в голову. Даже в Севастополе, где жизни сгорали на глазах, я был уверен, что мне — подпоручику Степанову — умереть невозможно, потому что не мог вообразить себе белый свет без моего в нем существования. Бог знает почему это детское чувство с возрастом во мне не исчезло: воспитание ли было тому виной, любовь ли к себе или ожидание особой судьбы — не знаю.

Словом, я был уверен, что проиграет мой пылкий противник, и думал о своей тактике в поединке.

На три часа был назначен общий обед у командира, поводом которому служили именины прапорщика Купросова. Пропускать этот обед мне не хотелось, и я подсчитал, что если дуэль качнется в два и даже в половине третьего, то я вполне управлюсь и мы с Шульманом сядем к столу вместе со всеми. Но время шло, а секунданты моего противника все не появлялись. Лишь в начале третьего, когда терпение мое иссякло, на двор прибыли верхами двое молодых людей и смущенно спросили, являюсь ли я капитаном Степановым?

«Вы приятели Красинского?» — спросил я. Оба кивнули. «Ну, господа, у меня времени в обрез. Назначим дуэль через четверть часа». Молодые люди удивились и ответили, что это невозможно, что дуэль можно начать самое раннее через час. «Будь по-вашему, — сказал я, — через час. Встретимся в лесу у креста. Мои условия таковы: оружие — сабли, деремся до первой крови. Вы согласны?» — «Нет! — было сказано мне.—

Господин Красинский выставляет другое условие: драться насмерть или до тяжелой раны». — «Хорошо, — сказал я. — Пусть будет так!» И на этом мы расстались.

Позвав Федора, я велел ему наточить две сабли, увязать их в пакет и приторочить к моему седлу. «Не беспокойтесь, ваше благородие, — просияв, сказал Федор. — Наточу лучше бритвы. Оттяпает руку в один удар». — «Ты о чем? — сказал я. — Ты что себе позволяешь!» — «Нет, я ничего, я понимаю, — заговорщицки отвечал денщик. — Это так, лозу рубить из-за скуки».

Через полчаса на поповский двор начали собираться офицеры. Встретив Шульмана, я сообщил, какие обязанности предстоит ему выполнять. Лекарь, сразу сообразив, что роль секунданта призывает его к трезвости и лишает обеда, стал горячо меня убеждать отказаться от безнравственной затеи или хотя бы перенести ее на вечер. Я сказал, что и то и другое невозможно. С тяжким сердцем согласился он на эту жертву.

Скоро обед начался, командир произнес поздравление, все, кроме нас с Шульманом, выпили. Я изобразил внезапный приступ головной боли, лекарь вызвался помочь мне порошками, и нас на короткий срок отпустили.

Орлик и лошадь для Шульмана стояли у коновязи. Мы сели в седла и выехали на улицу. Тут, ни слова не говоря, будто по договоренности, к нам присоединился Федор, вооруженный с головы до ног — саблею, штуцером и парой пистолетов.

«А ты, брат, куда?» — спросил я. К этому вопросу денщик мой, видимо, приготовился, потому что выпалил с

петушиным задором: «Ваше благородие, да разве можно одному на такое дело...» — «Ты что кричишь! — сердито прошипел я. — Ты всю батарею поднимешь...» — «Все равно я тут не усую, — шепотом продолжал Федор. — Поскачу вслед. Сердце мое изведется сторожить вас за околицей. А не дай бог что случится...» — «Накарай!» — сердясь отвечал я. «Вдруг их толпа примчится и порубят вас в десять сабель». — «Вот уж ты защитишь!» — рассердился я и приказал ему безвыходно сидеть на квартире. Если же меня приедут спрашивать, наказал я, то следует отвечать, что у штабс-капитана мигрень, он поехал развеяться.

Уязвленный Федор, бубня о дурных предчувствиях, преследовал нас до крайних домов. Тут он махнул горько рукой, как бы говоря: «Воля ваша. Прощайте!» — и наконец отстал. Мы с лекарем порысели к лесу.

— Ну вот, мы одни, — сказал Шульман. — Объясните, что за дуэль, какой повод?

— Эх, Яков Лаврентьевич, лучше вам и не знать.

— Да мне хоть приблизительно...

— Перчатку мне кинул в лицо этот бездельник, зять Володковича будущий...

— Господи! — ахнул Шульман. — Только и всего. Перчатку... Не камень ведь... Петр Петрович, еще не поздно, повернем коней. Было из-за чего жизнью рисковать.

— Да какой риск, никакого.

— Ну, и не в этом дело. Нехорошо. Неужто будете драться, как француз какой-нибудь. Не палкой все-таки вас

ударил... Ну, бросили бы эту перчатку там... в нужник, извините... И все... И бесился бы пусть. Я вас прошу.

— Не могу, Яков Лаврентьевич. Никак нельзя. Но не бойтесь, до трагедии не дойдет. Так, поупражняемся, собью спесь — и хватит.

Шульман вздохнул, и остальной путь мы промолчали. Красинский с секундантами уже был на месте. Мы спешили, я отдал лекарю завернутые в мешок сабли и сел под сосну. Красинский делал вид, что любит природу: то устремлял взгляд в синеву неба, то опускал его к земле. Иногда он поглядывал в мою сторону и тут же переводил глаза на крест, словно примерял ко мне этот символ вечного сна. Да, говорил он своей позой, твоя душа останется здесь навеки и будет в тоскливом одиночестве слушать вой волков.

Весьма скоро формальности закончились. Секунданты отметили вешками дорожку; Красинский снял сюртук, я — мундир, и нам вручили сабли: по жребью, это были сабли Красинского, тоже хорошо наточенные. Мы стали на исходные места.

— Господа, — сказал Шульман, — наступил последний момент, когда вы еще имеете возможность проявить добрую волю. Считаю своим долгом воззвать к вашему благоразумию. Вы стоите на черте, переход через которую для одного из вас может оказаться роковым. Повод к поединку не стоит такой жертвы. Высшая храбрость души как раз и проявится в извинениях виновного и удовлетворении этим противной стороны.

— Если господин Красинский принесет мне извинения, — сказал я, — я готов отказаться от дуэли.

— Считаю, что сейчас мне сознательно нанесли второе оскорбление, — спесиво ответил Красинский. — Не нахожу ни единого повода простить.

Тем хуже для тебя, мысленно сказал я ему.

Прозвучала команда «Бой!».

Красинский выдвинул клинок, чуть присел и мягким шагом пошел на сближение. За одну секунду внешность его изменилась к лучшему: исчезла спесь, он одухотворился, глаза весело заблестели — дурное это занятие было ему по душе. Но он, судя по стойке, по игре ног, по легкому клюющему движению клинка, был и достаточно опытен. Вес тела он держал на левой ноге. Атака, подумал я. Ну, поглядим, что ты за боец. Вот тебе левый бок — руби. Не рубишь. И правильно. Качаешься, дразнишь. Положим, я обманулся — вот, пикюрчик¹⁰ для завязки. Сейчас коли с выпадом. Не колешь — рубишь. Так сам защитись. Неплохой парад¹¹. О-го! Второй выпад. Молодец! Ловкие ноги! А вот флешатака¹² — это зря. Рано. Куда летишь навстречу смерти? Полоснуть тебя разве за дерзость по спине. Я сделал вольт¹³, и Красинский проскочил мимо, с опозданием защищая спину. Но рубить его в спину я не захотел и плашмя ударил по ляжке. Развернувшись, Красинский рассвирепел и прогнал меня до конца дорожки простыми, но быстрыми штоссами¹⁴.

Секунданты Красинского, заметил я угловым зрением, испытывали удовлетворение. Бедный Шульман, неискушенный

в фехтовании, отирал с лица пот; ему, верно, мнилось, что голова моя сейчас покатится по траве. Красинский наступал, я отходил, удары его были энергичны, а я исключительно парировал, словом, со стороны мое положение выглядело нехорошо, и меня это радовало. Теперь моя очередь, решил я, взял прим¹⁵, показал на голову и провел фланконаду¹⁶. Красинский отпрыгнул, я стал наступать, стараясь внушить, что моя цель — поразить его в лицо. Теперь и он не торопился, наступал медленно, защиты держал глухо, вспомнил о финтах: показывал налево — рубил голову, показывал на голову — рубил правый бок. Я видел в его тактике только одну ошибку — он стремился нанести сильный удар. «Рано ты празднуешь, — мысленно говорил я ему, отбивая удары. — Невелика заслуга саблю рубить. Это нашему лекарю страшно. Руби, руби — не пробьешь. Думаешь: шампанское поскачете открывать. Нет, Красинский, не похвалишься перед панной Людвигой. И ей станет дело — корпию щипать. Ну, пора!»

Я ударил по клинку и показал обманный укол в лицо, вызывая Красинского на батман¹⁷. Он купился. Сабля его разрешила воздух, выпрямленная рука оказалась без защиты, и я нанес ему рубящий удар по предплечью.

Красинский вскрикнул, сабля выпала на траву, из раны хлынула кровь. К нему кинулись секунданты.

— Я удовлетворен! — сказал я.

— Ни в коем случае! — нервно закричал Красинский.— Мы условливались. Это царапина.

— Но вы не можете драться, — сказал я.

— Я буду драться левой рукой. Я одинаково владею. Я настаиваю.

Я пожал плечами:

— Ну, пусть секунданты решат.

— Категорически возражаю! — сказал Шульман.

Прятели Красинского под действием его свирепого взгляда ответили, что такое требование справедливо.

— Господа, это — верх безумства! — сказал Шульман. — Я уезжаю.

— Яков Лаврентьевич, не волнуйтесь, останьтесь, — попросил я. — Я не сделаю моему противнику ничего дурного. Только пораню и левую руку.

— Хорошо, — раздумал Шульман, — Но я ставлю свое условие. Если я увижу, что вы, — обратился он к Красинскому, — деретесь левой рукой хуже, чем правой, я остановлю дуэль.

— Договорились, — грубо ответил Красинский.

Мы заняли свои места. Шульман, взявший на себя роль главного арбитра, стал напротив наших, готовых скреститься сабель. «Начинайте», — сказал он.

Красинский, играя клинком, стал наступать. Без привычки драться с левшой весьма неудобно — нет чувства оружия, приходится думать и приемы имеют меньшую скорость. Я отступал на близкой дистанции, готовый к вольту. Наконец мы «поцеловались» клинками, одновременно сделали выпад, не закончив его, отпрянули, ударив по гардам.

В это мгновение тишину разорвал выстрел, и между нами просвистела пуля.

Шульман вскрикнул и схватился за плечо.

XXV

Я бросил саблю, в три прыжка достиг портупей, выхватил револьвер и кинулся в лес. В глубине его, шагах в пятидесяти, был слышен бег негодяя. Я дважды выстрелил в том направлении и побежал вдогонку. Стволы и кусты ограничивали видимость, а дальний шум беглеца служил плохим ориентиром. К сожалению, злость вела меня вперед, как быка. Когда ко мне вернулся трезвый ум, я уже отмахал по прямой достаточное расстояние. Я остановился, прислушался — полное молчание окружало меня, я готов был взвыть. Негодяй сбежал или затаился, где было его найти? Вдруг недалеко в орешнике послышался шум: а-а! — обрадовался я, — убегаешь! не уйдешь! — и, держа палец на курке, рванулся к кустам. Навстречу мне выбежал из них вооруженный саблею Красинский.

— Э, черт! — выругался он. — Это вы шумели? Теперь не найдешь. Ушел.

Я поспешил к Шульману. Сердце мое терзалось. Беда, думал я. Ведь человек мог спокойно обедать с командиром и именинником, вино пить, а сейчас лежит на просеке с пулевым ранением, вдруг тяжелым? И ехать не хотел, и уезжать порывался — как чувствовал. А все я. Хоть сгинь теперь, так стыдно.

Секунданты Красинского бинтовали лекарю плечо. Рана, к моему облегчению, оказалась неопасной, пуля порвала мышцы.

«Вот, Петр Петрович, — с укором сказал Шульман. — На чужом пиру похмелье». — «Яков Лаврентьевич! — воскликнул я. — Не сердись. Не тебе предназначалась эта пуля». — «Не думаете ли вы, что я к этому причастен?» — вмешался Красинский. «Именно так и думаю», — ответил я. «А я думаю, что пулю прислал солдатский штуцер!» — «Надо выяснить, в кого стре ляли», — сказал секундонт Красинского. «Штабскапитан узнает об этом в своей батарее», — ответил ему Красинский. «Зачем же, — возразил я, — узнаем сейчас», — и пошел на дуэльную дорожку.

Нарубив длинных прутьев, я обозначил места, где во время выстрела находились секунданты, я и Красинский. Встав в створ с вехой, изображавшей Шульмана, я вообразил траекторию полета пули и направился вдоль нее в лес.

С моей стороны, думал я, о дуэли знали двое — лекарь и денщик. Первый сидит под крестом, второй — я был уверен — курит трубочку на пороге избы. Да и нарушь Федор мой приказ сидеть дома, характер его не позволил бы стрелять из засады. Не мог стрелять друг Красинского. В меня мог стрелять враг Красинского, в него — мой враг.

Размышляя так, я достиг орехового куста, трава с тыльной стороны которого была утоптана — здесь прятался негодяй. Став на его место, я заметил прорезанную в листве амбразуру. Стволы оставляли для выстрела узкий коридор. Приглядевшись к расположению прутьев, я заключил, что пуля адресовалась мне. Стрелок позволил Красинскому миновать сектор обстрела и нажал на спуск, когда на линию прицела вышел я. Будь атака

Красинского стремительной, я лежал бы сейчас с пулею под лопаткой. Я содрогнулся, вообразив последствия... Но кто мог стрелять? Я вернулся на просеку. Несчастный Шульман нервно ходил возле лошадей — ему не терпелось уехать.

«Стреляли не по вам и не по мне, — сказал я Красинскому, — а как раз в моего товарища. Можете убедиться в этом лично». — «Я верю, — ответил Красинский. — Однако, полагаю, дуэль наша не закончена?» — «Даст бог, продолжим», — сказал я.

Мы разъехались.

XXVI

Уложив Шульмана в постель и пожелав выздоравливать (он иронически меня поблагодарил), я поехал к подполковнику Оноприенко. Предстояло лгать, что само было неприятно, предстояло всполошить офицеров, поднять в ружье батарею, втянуть в кутерьму множество людей. Воистину, я погрязал в грехах... И не доложить командиру о происшествии было нельзя.

Поповский двор оказался заполнен канонирами; они сидели на завалинке, на бревнах, просто на корточках — все словно в раздумье. Будучи далек в мыслях от их настроения, я предположил какую-то новую беду и спросил у крайнего солдата, что произошло. «Ничего, ваше благородие. Песню слушаем», — ответил солдат. И действительно, из дома слышалось пение — в три голоса пели батарейные запевалы. Я сообразил, что обед достиг апогея.

Обождая последнего слова песни, я сказал себе «С богом!» и тяжелыми ногами вошел в избу. Меня встретил взрыв радостных возгласов, которыми всегда приветствуется в подвыпившей компании новое лицо; Купросов поспешил наливать мне штрафную; тут же, будто иголку вонзив в мою совесть, спросили, где Шульман.

— Господин подполковник, — сказал я, — должен сделать вам сообщение. Конфиденциально!

Все замолкли, командир вышел со мной в сени.

«Василий Михайлович, — молвил я вполголоса, — помните, я ушел вместе с лекарем... Так вот. Мы поехали на прогулку, и в лесу...» — «Что в лесу?» — спросил командир, трезвея. «Мы были обстреляны из засады. Точнее, некто произвел по нам одиночный выстрел. Шульман ранен». — «Как ранен?» — «Ранен в плечо». — «Опасно?» — «Слава богу, нет!» — «Ах ты, господи! — воскликнул Оноприенко. — Какая неосторожность. Мятежники! Вот и аукнулось нам снятие караула».

Тут в нашей беседе наступил короткий перерыв, равный по времени двум глубоким тоскливым вздохам подполковника. Для меня эти несколько секунд стали моментом прозрения. История моего знакомства с Володковичами вдруг развернулась перед глазами в единстве разрозненных прежде картин — так разворачивается веер, и догадки о возможном убийце пришли на ум.

— Господин подполковник, — сказал я, — прошу вас дать мне полномочия для розыска. Я виноват, мой долг найти

преступника, иначе меня совесть истерзает.

— Ах ты, господи! — повторил командир. — У нас, действительно, сегодня непорядок. Утром побег был, а солдаты, вон, расселись во дворе, как на свадьбе... Черт знает что, не батарея — татарский базар... И надо охранение усилить... Идемте.

Мы вошли в горницу.

— Господа офицеры! — призвал командир, и все встали. — Полчаса назад штабс-капитан и лекарь подверглись нападению мятежников. (Я мысленно покраснел.) Шульман получил ранение. Приказываю вам, капитан, провести расследование покушения, возьмите взвод, два, сколько необходимо... вам, господа, привести в готовность свои подразделения. Надеюсь также, что каждый сочтет за дружеский долг навестить раненого товарища...

Офицеры повалили из избы. «Господа, — сказал в сенях Блаумгартен. — Интересный у нас складывается обычай: уже поесть спокойно нельзя — жди несчастья. Позавчера — самоубийцу кортежировали по парку, в праздничный обед Шульман отыскал пулю, не сиделось ему за общим столом. А завтра что, — как у Пушкина, утопленника сети притащут?»

И меня окружили кольцом: «Петр Петрович, как было?» — «Да как! Слышим выстрел, глядим — дыра в рукаве, а в плече — рваная рана. Я в лес — никого».

И Нелюдов уже ревел с крыльца: «Это кто развалился? Табор? Цыгане? В парк! В строй!» Солдаты, следуя правилам самосохранения, опрометью вынеслись со двора.

Сказав Василькову посадить взвод на коней и ждать меня за выгоном, я поехал на квартиру.

Федор, как мне и думалось, покуривал трубочку на пороге.

«Живы!» — простодушно закричал он. «Как видишь, — ответил я. — А ты куда не отлучался?» — «А куда мне отлучаться? Молился тут за вас». — «Ну, спасибо. А за лекаря не молился?» — «А за него зачем?» — «Ранили его». Федор опешил: «И он дрался?» — «Не совсем. Стреляли... бог знает кто». — «Говорил, возьмите меня...» — восторжествовал Федор. «Помолчи, помолчи! Без тебя горько. Ты вот что, возьми в погребце бутылку, нет, две и отвези ему. Только не спрашивай, и никаких укоров, вообще, отдай вино, пожелай здоровья — и за порог... И никому ни слова, хоть под пыткой... куда мы ездили... На прогулку ездили. И езжай на выгон, к прапорщику Василькову в отряд».

XXVII

Поручив Василькову прочесать лес в окрестностях места ранения лекаря, сам я в сопровождении денщика поскакал в усадьбу Володковичей. Во дворе и в сенях было пусто, зато в зале сидели человек пятнадцать. Находились тут все Володковичи и Красинский с рукою на перевязи. Последний, завидев меня, спросил жестом, не он ли мне нужен. Я мимикою же объяснил, что пока не нужен, и позвал господина Володковича.

— Распоряжением командира батареи, — сказал я, — я

провожу следствие в связи с покушением неизвестного лица на жизнь нашего лекаря. Мне весьма жаль, — продолжал я, — но долг службы заставляет меня задавать вам вопросы, которые могут отозваться в вашей душе болью.

Володкович ответил гримасой: то ли — к чему же спрашивать? то ли — спрашивайте, мне все одно; оглянулся, придумывая место для беседы, дернул противоположную дверь — закрыта, и предложил выйти на воздух.

Мы вышли.

— Мне известно, что лекарь ранен в плечо, — сказал Володкович. — Николай был случайным свидетелем, да? И помогал вам искать?

Я кивнул и отметил про себя, что слово «случайный» господин Володкович выделил.

— Вы предполагаете, выстрел имеет какую-то связь с моей усадьбой, — спросил он.

— Не возьмусь что-либо предполагать, пока не составлю ясную картину дела, — ответил я. — Но есть обстоятельства, которые не позволяют мне обойти ваш дом вопросами, хоть мне этого и хотелось бы из участия к вашему горю. В первую очередь, меня интересует место, где вы распрощались с Северином, а также время, когда это происходило.

— Как не помнить, — печально сказал господин Володкович. — Мы сидели на той скамейке, где вы застали меня утром. Вдвоем. Впрочем, шагах в двадцати стоял Томаш с дорожным мешком — мы собрали еду, одежду... Однако, чтобы вы правильно поняли, это было в последнюю минуту. А прежде

в гостиной... где сын сейчас... мы выпили, как принято, на дорогу... Вот какая она вышла... Михал, Людвиг, Николай — все расцеловались с Северином, и я пошел его проводить — он уходил за пруды... Там тянутся далеко глухие леса... И у нас был разговор о деньгах... Я от вас не скрываю, теперь не имеет значения. По сути дела, хоть вслух и не произносилось, но он уходил в эмиграцию, долгая разлука... и мы обговорили, куда и как высылать деньги... Встали, обнялись, и Северин ушел...

Слушая Володковича, я меж тем пытался понять, почему он ни полслова не говорит про дуэль. Не может не знать, думал я. Запершись, где-нибудь обсуждали происшествие, а значит, и мой ранний визит, потому что я внес смуту; что же, не знают, что Красинский перчаткой бросался? Ведь приехал из леса с перевязанной рукой, как-то должен был объяснить, не мог же сказать, что нарыв под бинтом или заноза. Подсказали бы хоть извиниться, поблагодарили бы, что пожалел, или сами извинились за дурака. Но стоит ли дивиться, подумал я. Сколько лет просидели султанами на тысячах душ. Это же двор, государство в миниатюре, владельцы, царю уподоблялись, народ в ноги кланялся, исправнику могли рот затыкать... А кто для них я? — офицер проезжий, артиллерийский штабс-капитан. Непрошено заявился, и о чем не хотели говорить — сказал. Возвестил правду, которой не желали. Пророк! А пророка всегда хочется пришибить, чтобы жить не мешал...

— Простите, — обратился я к Володковичу. — Вы не можете вспомнить, как господин Красинский рассказал о покушении на лекаря?

— Отчего же. Я понял так, что он провожал лесом своих приятелей и на просеке встретил вас обоих. Как раз прозвучал выстрел. Друг ваш упал, а вы и Николай бросились в чащу. В зарослях он поранил руку. А что, это неверно?

— Нет, верно. Но у меня было ощущение, что Красинский любит прихвастнуть.

— Да, — согласился господин Володкович, — но бескорыстно.

— Жалею, что перебил вас несущественным вопросом, — сказал я. — Вы говорили, что Северин ушел...

— Да, он ушел, — повторил Володкович, проводя ладонью по глазам. — Мы с Томашем побрели в дом... А было это времени... ну, за полчаса до вашего приезда. Но вот что, вы, надеюсь, поймете. Я офицеров пригласил... Конечно, был умысел: вдруг вашим постам попадется — уже какое-то знакомство. Но я и сам офицер, хотелось поговорить...

Воображение мое оживляло рассказ господина Володковича, наиболее интересным фактом из которого я счел возвращение Томаша в дом вместе с хозяином.

Я решил уточнить, что делал Томаш в последующее время.

— Мы прошли на кухню, — объяснил Володкович. — Посмотрели, зашли в столовую — там мыли, накрывали, ну, как обычно... потом спустились в погреб, я сам отобрал вина, он в этом ничего не соображает. У меня прежде был управляющий, тот все понимал, но — вор. Я его выгнал. Томаш неискусен в экономике, однако не дурак и старателен...

Господин Володкович вдруг пожал плечами, словно удивившись, зачем он рисует мне качества своего слуги, и замолчал. Минуту мы провели в молчании.

«Вы утром высказали сомнение: не убийство ли? — сказал Володкович. — И я склоняюсь думать именно так. — Володкович остановился и пристально посмотрел мне в глаза: — Я хотел бы... Я дорого заплачу тому, кто откроет мне имя убийцы». — «Вы делали такое предложение исправнику?» — спросил я. «Нет! И не сделаю». — «Отчего?» — «Не могу, — сказал Володкович. — Лужин... Есть правила и для него... Он вовсе не глуп, но как лицо должностное...» — «Однако он знал, что Северин — повстанец?» — «Знал, — согласился Володкович, — но у него свои интересы...»

— А если убийца принадлежит к вашему дому? — спросил я. — Если он — в близком кругу? Может быть, для вас лучшее не проникать в эту тайну?

— Я не люблю быть околпаченным. Ни в одном деле, — гневясь, сказал Володкович. — И особенно в этом деле. Мне легче будет пулю пустить в висок, чем знать, что кто-то радовался, превратив нас... меня! в марионеток своей затеи, что смеялся надо мной, когда я плакал. Приезжают соседи: «Матка свента! Северин! Кто мог ожидать! Такой жизнелюб! Отважное сердце!» — а я вынужден лгать: «Несчастливая любовь!»

— Убежден, что вы понимаете, — сказал я, — что как лицо, ведущее следствие, я обязан доверять фактам. — Володкович согласился. — Факты же таковы, что тень подозрения ложится на всех. На всех людей усадьбы. Даже на

вас. — И я высказал свой взгляд на его интересы.

— Поместье родовое, — ответил Володкович, — тут жили мои предки, оно мне дорого. Но сгори оно огнем, чтобы из-за него я дьяволу душу продал.

— А вы с Михалом и Людвигой совещались? Какое их мнение?

— Глупость, — поморщился Володкович. — Они считают, что Северин сам себя застрелил. А я не принимаю — он не мог. Не мог!

— Что ж, господин Володкович, — сказал я. — Наши желания совпадают. Я тоже хочу узнать преступника. У меня к нему есть и личный счет. Надеюсь, вы подскажите всем своим, и особенно Красинскому, проявить откровенность.

Володкович кивнул.

— И последний вопрос, — сказал я, — почему вы мне доверяетесь?

— Бог его знает, почему одним людям веришь, другим нет, — ответил Володкович. — Вы — боевой офицер, кавалер креста святого Георгия. Я так думаю: какая вам честь мстить человеку, уже покинувшему свет... Или за его грехи мне... Да и сложилось, что я вынужден вам рассказывать; я посвящать ни вас и никого другого не хотел. И я чувствую, вы — порядочный человек. Ведь не могут все офицеры не сознавать наших обстоятельств. Я сам служил и убедился: в армии много людей, сочувствующих постороннему горю. Земля слухом полнится, что и сейчас, в нашем крае, объятom мятежом, иные офицеры входят в понимание чужих судеб. Они заслуживают

особой благодарности.

XXVIII

Красинский пришел на свидание весьма раздраженным.

— Господин Володкович объяснил мне, — сказал он, — что вы — должностное лицо. Это верно?

— Верно, — ответил я.

— Знаете, господин штабс-капитан, я так не умею, — сказал Красинский, — и учиться не хочу. Между нами неприязнь, мой долг вам не возвращен, а вы вдруг себя возвышаете, чтобы вопросы мне задавать. Я понял так, что даже предстоит как бы отчитываться перед вами?

— Верно, — повторил я. — Господин Володкович считает, что Северин убит. Вы этому противитесь. Почему бы?

Красинский опешил:

— Как противлюсь! Это его мнение. Мое иное. И никакой связи... Уж не подозреваете ли вы, что я убил Северина?

В ответ я предложил прогуляться. Мы направились к прудам. Выйдя к ним, я спросил:

— Когда-последний раз вы видели Северина?

— Позавчера, — ответил Красинский. — Незадолго до вас. Это было в гостиной. Мы распрощались, и они...

— Кто? — спросил я.

— ...Северин и господин Володкович ушли.

— А что вы делали далее?

— Людвиг плакала — я стал ее утешать. Потом она поднялась к себе, а я вышел к подъезду — там заряжали

мортирки.

Пруды и беседка остались позади. Мы пересекли лужайку и пошли кустарником.

— Куда мы идем? — спросил Красинский.

— Где-то тут, — сказал я, — был убит брат вашей невесты. Может быть, возле этого куста или вот здесь.

Красинский равнодушно взглянул на указанное место.

— Скажите, Михал знал, что вы вызвали меня драться?

— Знал. Я просил его быть секундантом. Он отказался.

— Он вас не отговаривал?

— Пытался. Но я не люблю отступать.

— И что он?

— Сказал, что вы меня убьете.

— А где вы ожидали своих секундантов?

— Здесь, в усадьбе.

— Мне кажется, — сказал я, — вы не любили Северина.

— Почему не любил, — смутился Красинский. — Слово какое-то дамское. Хотя вы верно заметили: мне он не нравился. Скучно было с ним, тяжело, всем на свете он был недоволен. Царь — подлец, в правительстве — мерзавцы, дворяне — скоты, а честные люди — только те, что на каторге, да он.

Я повернул назад и стал про себя отсчитывать шаги.

— Тоскливая натура, — продолжал Красинский. — Едем, бывало, мимо костела, он со злобой — «Работает, колдун!», мужики у корчмы дерутся, он — «Правительство народ развращает!», лентяй крышу не перекрыл, он — «Дворянство, так их и так. До убогости довели народ!». Просто смешно

становилось.

И Красинский рассмеялся.

— Что вас еще интересует? — спросил он.

«Еще, где находился господин Володкович, когда вы вернулись с просеки!» — «В траурной зале», — был ответ. «А Людвиг?» — «Тоже там». — «А Михал?» — «Все вместе. Вы думаете, — усмехнулся Красииский, — кто-то из них бегал в лес стрелять по вашему лекарю?»

— А Михал знает о выстреле? — спросил я.

— Он считает, что приятель Северина развлекался. Мундиры ваши ему в любом случае неприятны. И я так думаю.

Ай да Михал, поразился я. Мудрец.

— Я хочу вас попросить, — сказал Красинский, густо покраснев. — Я не говорил, что вы меня ранили... Я не могу, мне легче голову потерять... и дуэль наша все-таки не окончена, я сказал, что разбился о сук, когда за стрелком гонялись... Вам ведь все равно...

Я мысленно ахнул. Да сколько же тебе лет, восклицал я. В таком рабстве у самолюбия состоять... Эх, совсем ты небитый! А если бы я грудь посекал, что врал? — что медведь когтем провел?

— Вот вы полагаете, что Северин застрелился, — сказал я. — У вас есть основания?

— Кому он был нужен, этот Северин. У них у всех, кроме отца, слабая воля. Повоевал, потягался по лесам и к отцу — дайте денег, отбываю за границу, в Италию отдохнуть. Что же касается слуг, то тут не те слуги, которые хозяев убивают. Мы

сегодня говорили: господин Володкович месяцами держит в секретере деньги, и немалые — рубль не исчез. Уже сто раз могли бы ограбить, будь желание.

— Но зачем же ему было стреляться, если он в Италию намечал?

— Наверное, господин Володкович отказался выделить средств. Вот он погоревал в кустах и, назло семье, — пулю в лоб. Господину Володковичу, разумеется, стыдно признаться, что пожадничал, а хочется думать: не он виноват, а кто-то, неизвестно кто.

Неплохо придумано, похвалил я, только не твоей, братец, головой. Кто-то вложил эти мысли в твои уши. Михал? Людвига?.. Поверить бы еще, што Шульмана не пуля, а шмель укусил...

Мы расстались. Красинский пошел в дом, а я, сцепив за спиной руки, ходил взад-вперед по аллее, обдумывая ход разговора с Михалом. Вскоре он появился, и мы побрели тем самым маршрутом — мимо прудов, через лужайку, в кустарник, — каким я водил Красинского.

Это хождение имело специальную цель: заставляя очередного собеседника, которого я в эти минуты предполагал убийцей, идти по следам Северина, я простодушно надеялся заметить на лице отражение внутренней борьбы или страха. Ни Красинский, ни Михал моих ожиданий не оправдали.

Но правду сказать, хладнокровие и немецкая логика Михала произвели на меня более тягостное впечатление, чем импульсивная дурость Красинского. В моем противнике было

чрез меру эмоций, над ними можно было смеяться, порицать их, но эпитет «тоскливый» никак к нему не подходил. Михал же хоть и обладал лучшим умом, но олицетворял собой скуку. Уже сам вид его располагал к скучанию.

Я поинтересовался, почему никто не удержал Красинского от несправедливой дуэли.

Спокойно и рассудительно Михал объяснил, что и предположить не мог возможность дуэли. Он-де был убежден, что я, услышав вызов, тут же распоряжусь высечь задиру. (И зря я этого не сделал, подумал я с сожалением.) Он лично поступил бы именно так.

— Логично! — сказал я. — А как вы считаете, Михал, ваш отец обеспечил Северина средствами или отказал?

Ответ оказался удивителен:

— Ни то и ни другое. Насколько я понял из слов брата, — продолжал он меланхолическим тоном, — он попросил большую сумму — чуть ли не всю свою наследственную часть. О назначении средств можно только гадать: для закупки оружия, для формирования нового отряда или попросту для жизни за рубежом — толком не знаю, планы у Северина всегда были таинственны. Отец сразу не ответил. И непросто ответить, сами понимаете. Позавчера решение у него еще не созрело. И я думаю, что он выдал лишь скромную долю того, что брат ожидал.

— Сразу хочу прибавить, — продолжал он, — что отец поступил разумно. Выбрасывать неизвестно куда, без пользы для семьи семейные деньги, подрывать имение — я сам против

этого.

— Ну, и каков вывод? — спросил я.

— Вывод следующий. Вероятно, отец и Северин крепко поспорили, а то и повздорили. Вы извините, но мне кажется, что отец и офицеров пригласил, чтобы преградить Северину доступ в дом.

Хороший будешь хозяин, герр Михал, подумал я, своего не упустишь. И схема неплохая, один могу сделать упрек: почему в ней бедный Шульман позабыт. Я спросил, как он объясняет это покушение.

— Не знаю, кто мог стрелять по вашему секунданту, — ответил Михал. — Но есть люди, которые с удовольствием застрелили бы Красинского.

Я проявил внимание.

— За столом, если вы помните, — говорил Михал, — исправник рассказывал, как казаки порубили отряд местных повстанцев — человек тридцать. В этом отряде был Красинский.

Я искренне удивился, то есть мои глаза полезли на лоб.

— Не иначе как по божьему знаку, — говорил Михал, — в ту ночь, когда казаки окружили гумно, Красинского в отряде не было. Матушке его удалось каким-то образом заглушить любопытство исправника к этому периоду жизни сына. Но многие родственники погибших, еще не выселенные, считают Николая иудой. На мой взгляд несправедливо.

— Положим, родственники, — возразил я. — Но откуда им было знать о месте и часе дуэли?

— Да ведь он, как безумный, носился по фольваркам приглашать секундантов. Помимо меня, ему трое отказали. Он сам мне жаловался. Время такое — все боятся рисковать. Тем более после вчерашнего.

— Вы с Людвигой будете беседовать? — спросил Михал.

— Обязательно! — ответил я,

XXIX

Слова Михала могли быть либо правдой, либо ложью, но могли быть искусно приготовленной смесью этих противоположностей. Немецкие задатки молодого Володковича вполне допускали такой винегрет.

Осмыслить его сведения я постановил после разговора с Людвигой, необходимость которого меня сильно удручала: вновь вскрики, вновь призывы к ангелу, то многоречие, то символическая немота, вдруг кровь бросится в лицо, вдруг отольется — не перечислить всех приемов капризной души, нацеленных извести ваше терпение. Я дал себе слово, что приму все ее выходки с тою же иронией, какой требует восприятие фокусов.

Наконец послышались шаги, я приготовился, но вместо Людвиги на свидание пришел исправник Лужин.

Разбойник, подумал я, зачем ты пасешься в этом доме? Медом тебе здесь намазано или малый кусок ты урвал, пользуясь чужим горем?

— По пути встретил вашего прапорщика, он сказал — лекаря чуть не убили. — Я кивнул. — Беглый! — уверенно

определил исправник. — Надо ловить, пока новой беды не учинил. — Лужин присел на скамью. — Напрасно вы мне его не отдали. От нас еще никто не убежал. Потому что мы старательно охраняем.

Я промолчал.

— Так вы, значит, следствие проводите? — спросил Лужин.

— Приказано, — ответил я. — Вот семейство Володковичей опрашиваю.

— У них заботы, заботы. Горе, — исправник скорбно вздохнул. — Отцовское горе! Еще хорошо, если по-житейски рассудить, что семья большая, другие дети есть. А как у меня один сын?! Не приведи господь, случится беда — не пережить.

— А что, хороший у вас мальчуган? — полюбопытствовал я.

— Славный! — улыбнулся исправник.

— В отца, в мать?

Лужин не скрыл гордости:

— В меня!

— Приятно слышать, — сказал я, подумав, однако, с горечью, что еще одним вымогателем станет больше.

Предмета для разговора не было, молчание затягивалось, я ожидал, когда он уйдет.

— Давайте по-человечески поговорим, — вдруг сказал Лужин.

— Только так и умею, — ответил я.

— Ну, так вот, вы можете мне объяснить, зачем вам это

следствие, расспросы, допросы, подозрения, — все эти сложности. Ей-богу, не понимаю.

— Что ж тут неясного? Ранен мой товарищ...

— И этот странный побег мятежника, — продолжал он. — Вы, с большим опытом офицер, снимаете караул... И легкомысленная дуэль... Удивительный вы человек.

Было отчего потеряться, и я потерялся — минуту не находил, что сказать, что спросить и в какой форме, а изумленно глядел в хитрые — и видел: очень хитрые — глаза моего нежданного собеседника. Мысли мои раз бегались, как толпа под обстрелом. Что он хочет? Кто сказал?.. Володкович?.. Михал?.. Красинский?.. Куда клонит?.. Откровенничать... Стоять патриотом?.. А дуэль?.. Угрожает?.. Провоцирует?.. Я — гвардейский офицер, слуга государя... Оскорбиться?.. Успею оскорбиться...

— О каком поединке вы говорите, Афанасия Никитович? — вкрадчиво спросил я.

— Да вот совершенно точно знаю, что между вами и Николаем Красинским была дуэль...

— Вы, приходится думать, это собственными глазами видели?

— Собственными не видел, да все ль надо лично наблюдать? И не в том дело. Дуэль не дуэль — мне дела нет, если без осложнений. Я хочу помочь вашим интересам.

— Признателен, — сказал я, — но не понимаю.

— Вы думаете: Лужин — простофиля, не видит очевидного. А вам стоило только оком повести, и уже вся

картина здешней жизни предстала в ясности. Мы с вами тет-а-тет, я откровенно говорю. Вам уже, думаю, известно, что Северин запятнал себя участием в мятеже. И мне известно. Но я вот молчу, хоть и нарушаю этим распоряжение. Потому что я не только исправник, но и человек. И сознаю, что семья Северина в его глупости неповинна. И представлять к наказанию за черную овцу все, так сказать, стадо мне совесть не разрешает. Убит Северин или застрелился? Вопрос сложный, склоняюсь к последнему. Но допустим — убит. Допустим, нашли преступника. Что ему? А ничего: он мятежника застрелил, человека вне закона, он — вне ответственности. Кто в ответе? Семья. Семья благопристойная, порядочная...

— Все, что вы мне говорите, для меня удивительно, — сказал я. — Чрезвычайно вам благодарен.

— Плох бы я был как исправник, не будь у меня в каждой деревне, околице, усадьбе своих глаз и ушей, — продолжал Лужин. — Есть такие люди и в этом доме. Одна из служанок слышала ваш разговор с Михалом.

— Ну и что, — улыбнулся я. — Я сказал Михалу то, чего в натуре не было. Мне хотелось свои догадки уточнить. И скажу вам с полной уверенностью, Афанасий Никитович, что стрелял в нашего лекаря вовсе не беглый...

— А приятель его, — вставил Лужин.

— И не приятель его, и совершенно не мятежник...

— Кого же, в таком случае, ищут ваши солдаты?

— Ищут, они того, кого им приказано искать, — стрелка.

— Вы меня не понимаете, — сказал Лужин, — потому что, чувствую, неправильно трактуете нашу встречу и мои побуждения. Мы пикируемся, а я здесь не для того. Я не скрывая говорю, но только вам, вам одному: мне искренно жаль семью Володковичей: славные люди, добрые, отзывчивые... И вдруг такое испытание — смерть сына... Вот Михал. Ну, кто он? Еще юноша глупый. Молодо-зелено. Я мог бы, конечно, взять его в оборот: зачем ездил на Шведский холм? Почему не сказал о визитерах? Зачем вез деньги? И что ж его — к наказанию? Но я понимаю: мятежникам нужны деньги, они парня прошантажировали, а у него сердце мягкое — он и поддался...

— Вы вчера допросили пленного, — продолжал Лужин. — Он, я полагаю, признался, что требовал у Михала денег, которых в силу своего поступка не доставил Северин. Вы этому ужасному для Володковичей признанию могли дать официальный ход, но так не поступили, решив проверить все лично, из чего я заключаю, что вы порядочный и понимающий жизнь человек...

Иными словами, подумал я, что я — такой же взяточник и негодяй, как ты.

— Бегство мятежника, которое, без сомнений, можно назвать чудом, — продолжал Лужин, — означает, что шантажист получил волю и может повторить свой визит. Ему требуются деньги. Но они нужны всем...

— Кому нужны, а кому — нисколько, — ответил я. — Лично мне нужно схватить разбойника, сделавшего выстрел. И

кроме этого — ничего.

— Вы, несколько не сомневаюсь, хороший артиллерист, но с юриспруденцией мало знакомы, — сказал Лужин. — Схватить нетрудно, трудности следом идут — какие у вас доказательства вины. Есть, знаете, очень стойкие, заупрямится: «Не я стрелял!» — и хоть ты его зарежь, стоит на своем. — Лужин улыбнулся: — Приходится отпускать.

— Справедливо! — отметил я.

Мы поднялись и пошли к дому.

— Мне кажется, я вас несколько не убедил, — сказал Лужин. — А жаль.

— Наоборот, убедили во многом.

Возле подъезда стоял наготове экипаж. Лужин сел на заднее сиденье, кучер дернул вожжи и повез своего господина вон.

— Прощайте, господин штабс-капитан! — крикнул исправник, уже отдалившись.

Я вернулся в дом. Господин Володкович стоял в дверях гостиной. Две почтенные дамы, то ли прибывшие, то ли отъезжавшие, просили его крепиться.

— Вы хотите поговорить с Людвигой, — сказал мне Володкович, — сейчас позову.

— Нет, — ответил я. — Мне надо поговорить с вашим экономом Томашем.

— Эля! — позвал Володкович старую служанку. — Посмотри, где Томаш. Пусть придет.

Минут через пять служанка сообщила, что Томаш

недавно уехал к лавочникам в местечко.

— Вот незадача. Извините, господин штабс-капитан, — сказал Володкович. — Вы не предупредили, а я и не подумал о нем. Да ничего, он к ночи вернется, тут близко. Я сразу его пришлю.

И Федор подтвердил, что скоро по приезде исправника какой-то мужчина верхом выехал из усадьбы. Судя по описанию, это был Томаш.

XXX

Нагнав рассыпанный в цепь взвод, я приказал возвращаться в деревню. Солдаты обрадовались.

Закат горел над лесом; когда дорога поднималась на холм, пылал сквозь стволы багряный круг солнца; где-то недалеко каркали вороны; воздух остыл; небо было чистое, на нем серебристой печатью проступал диск луны. Меня всегда волновала эта извечная печать на земном небе, оттиск лица первого бога, знак его давнишнего бытия, его след — легкий, как дальний звон. Следуя доброму инстинкту, я никогда не смотрел на луну сквозь увеличительное стекло — древние тайны и новые тайны не увидишь с его помощью, и не станет понятно, отчего свет ночного светила вызывает у нас грусть. Или мы ощущаем глубину тьмы и забвения, из которого выплывает серебристая тень?

Но древние боги осмеяны, луна объявлена божьей лампадой, а создатель, во славу которого она украшает небосвод, не следит за людьми; он спит до Судного дня и

судить дела доверил людям. Графу Муравьеву, например. Достаточно написать ему письмо, подумал я, он махом этот узел разрубит. Но сама мысль писать донос была отвратительным допущением. Я знал, что и буквы не напишу. Да и толку нуль — здесь появится новый владелец, и мои заботы пойдут на пользу только ему. Но что мне за дело сменять помещиков. И потом: негодным образом действуешь — значит, негодяй. А негодяев без меня с избытком. Вот и по мне стрелял подлец, а если я тайно по нему выстрелю — тоже буду подлец.

Распустив взвод, я прибыл к подполковнику Оноприенко и доложил о неудаче поисков.

— Да, — согласился командир. — Легкое ли дело обнаружить в лесах беглеца. Он подвижен, не оставляет следов. Поблагодарим бога — могло быть хуже. Напишите объяснение, Петр Петрович, будем надеяться, последнее, а утром — прочь от этого места. В часов семь и выступим.

Времени у меня осталось вечер и ночь.

Я поехал к Шульману.

XXXI

На лавке возле Шульмана стояло полдюжины бутылок — все запечатанные.

«Вот как заботятся о раненом настоящие товарищи», — сказал лекарь. «Еще бы! — ответил я. — Ведь вы, Яков Лаврентьевич, принесли на алтарь Победы свою кровь. Не удивлюсь, если награду получите». — «Свое я уже получил, —

сказал лекарь. — А вы, говорят, мятежников искали. Ну что?» — «Покамест ничего. Но думаю, узнал подлеца». — «Вот именно — подлец, — сказал Шульман. — Испортил настроение. И пить не хочется. Разве с вами. Откройте кагор — подполковник лично привез. И мне налейте». — «А я к вам с просьбою», — сказал я. «Уж не опять ли на дуэль ехать? Решительно отказываюсь — жить хочется». — «Нет, другого рода». — «Ну, тогда слушаю».

— Вчера, — сказал я, — мы подписались в том, что Северин Володкович покончил жизнь самоубийством. Так вот, он был убит, а всех нас ловко обманули.

— И вы знаете, кто это сделал?

— Знаю. И хочу с вами поделиться. Мне ваше мнение интересно.

— А мне ваша история.

— Ну, так послушайте. Если надоест, скажите откровенно.

— Готов слушать всю ночь.

— Начну с того, что Северин вовсе не несчастный Ромео, каким рисовал его отец. Он был взводным командиром в отряде повстанцев, две недели назад разбитом. Избежав пленения, он и с ним трое приятелей пришли сюда. Одного из них убил Лужин, второго я спас на Шведском холме, третьему помог сбежать из поповского сарая. Надеюсь, вы меня не осудите?

— Так это вы! — воскликнул лекарь. — Жму вам руку. Но как, как это было?

Я рассказал.

— И вы не устыдились жаловаться на свое бессилие? — укорил меня Шульман. — Или попросту разыгрывали?

— Нисколько, Яков Лаврентьевич. Поймите меня. Просто грех искупил. На мне был, на вас — нет. Но продолжать?

— Вы еще спрашиваете.

— Два дня назад Северин привел семью в замешательство просьбой денег. Отец, взяв за компанию Михала и Людвигу, отправился за деньгами в город. Я встретил их у корчмы, когда они возвращались. Вид у них был тусклый. Такая просьба не вызвала бы удовольствия и несколько месяцев назад, хоть тогда поступки Северина семейному благосостоянию не угрожали. Тогда граф Муравьев еще не испытывал родственные чувства круговой ответственностью, еще в Сибирь никого не гнали и не лишали имений. Другое дело сейчас, когда постановлено: хочешь владеть имуществом, доложись, что сын — инсургент или что брат — инсургент; доложись, где он, появляется ли дома, и обязательно донеси, если появится. А Северин связи с домом не держал. Может, к этому дню его уже в мыслях и похоронили. И вдруг явился и просит денег. Кандидат на виселицу. Живая угроза семье. Схватят — улика неопровержимая — прощайте пруды, ужины, лебеди и слуги, прощай свадьба — Красинский-то еще не родственник, ему — ничего, прощай хозяйство на немецкий манер, слава богатого помещика. Есть о чем задуматься, да?

— Не без того, — согласился лекарь.

— Но проехав от корчмы до церкви, семья Володковичей изменилась в настроении настолько, что нас пригласили в

усадыбу. Господин Володкович объяснил, что преследовал этим приглашением две цели: подчеркнуть свой патриотизм, любовь к армии и нейтрализовать нас завязавшимся знакомством. Как глава дома он поступил правильно.

— Хотелось бы, — сказал Шульман, — чтобы подобную щедрость проявляли все патриоты. По крайней мере, в отношении вин.

— Теперь обратим внимание на время, — продолжал я. — Мы прибыли в половине восьмого. Спустя четверть часа приехал исправник. В восемь часов вы, я и Михал сидели в беседке. В десять прозвучал выстрел, а в половине одиннадцатого в той же беседке мы увидели труп. По словам господина Володковича, Северин расстался с родными в семь... В двадцати минутах ходьбы от прудов его ожидали приятели. Он до них не дошел. Где он провел три часа, никому не известно. В момент выстрела все Володковичи и Лужин сидели за столом. Как вы думаете, кто убил?

— А убийца — знакомое лицо?

— Знакомое.

— Думаю, Лужин, хотя не понимаю, каким образом.

— Нет, к этому убийству исправник не причастен. Он приехал на наших глазах и все время был рядом с подполковником. А самое главное, он не знал, что встретит в усадьбе офицеров. Убийство же случилось исключительно потому, что ожидали нас — ни в чем не заинтересованных, уважаемых свидетелей. Лужин — вымогатель и явился за барашком в бумажке. Вероятно, кто-то, скорее всего, эконо-

Володковича Томаш, вы должны его помнить, известил исправника о возвращении Северина. Тот и примчался: «Где ваш Северин?», а простым языком: «Хотите молчания о сыночке-мятежнике — раскошеляйтесь!» Но и для него смерть Северина была неожиданностью, хотя он и на полслова не верил в романтическую любовь. Словом, не Лужин. Но кто? Лучше сказать: сколько? Сколько человек участвовало в убийстве? В коляске, когда командир принимал приглашение, сидели трое...

— Погодите, погодите, — взволновался Шульман. — Вы можете объяснить, зачем нужен спектакль с самоубийством. Согласитесь, что умнее убить тайно. Словно Северин и не заявлялся в усадьбу.

— Ничуть не умнее, — ответил я, — проходит срок, и у господина Володковича интересуются, где его сын.

Он должен ответить: «В Петербурге, но с марта вестей от него не было». А в феврале — марте съезжались в край для мятежа. Начнутся выяснения, кто-то проговорится — и последуют репрессии. А уж коли на местном кладбище есть могила, а в местной полиции наше свидетельство, то и спроса никакого. Ведь каждый волен распоряжаться своей жизнью как захочет.

— Да, дело личное, — признал лекарь. — Всем наплевать.

— Говоря вообще, — сказал я, — для версии о самоубийстве было бы убедительнее застрелить Северина в его комнате. Мы веселимся, вдруг над головами нашими выстрел, мы летим по лестнице, слуги выбивают дверь — на полу

Северин, в комнате вонь пороха. Не возникает и тени подозрения. Но такая инсценировка требует сговора всей семьи, кто-то с общего соглашения должен выступить палачом, Северина надо связать, держать взаперти. И тому подобное. Я решил, что семейного заговора не было, что есть люди, не причастные к убийству. Очевидно, что непричастен Красинский. У него нет причин убивать Северина. Он богат. Что бы ни сделали Володковичам — его не коснется. В худшем случае он не возьмет за Людвигой приданого. Получив от него вызов, я стал подозревать Людвигу. Выстрел эти подозрения рассеял — стрелял мужчина; и в числе подозреваемых остались двое — Михал и господин Володкович.

— Голова кругом идет, — сказал лекарь. — Еще вина, Петр Петрович.

— Да вам, верно, нельзя» — усомнился я. — Вы ослаблены. Повредит.

— Наоборот, поможет, — возразил лекарь. — Поможет следить стремительный ход ваших рассуждений.

— Погодите смеяться. Когда наступит черед подробностей, я буду скрупулезен. А еще не пора. Я излагаю вам выводы, а про свои сомнения и подсчеты умалчиваю,— если вы заинтересуетесь, я расскажу их последовательность, — но мы движемся к завязке, и мне не хочется держать ваше внимание на мелочах. Сейчас мы думаем, кто решился на убийство, кто помимо желания убить имел возможность обставить дело с достаточной хитростью. Красинский и Людвиг такой возможности не имели. Михал? Михалу смерть

брата, безусловно, выгодна — он остается единственным наследником имени. Но в десять часов Михал слушал ваш увлекательный рассказ о татях московских. Можно допустить, что он нанял убийцу. Но как найти наемника в усадьбе, где всех слуг и служанок десять человек, и все они — бывшие дворовые, да и к Северину привязаны больше, чем к Михалу? Наемнику надо заплатить, а у Михала своих денег нет. Необходимо отметить, что Михал в вечер нашего пребывания в усадьбе вспомнил о Северине однажды, когда сказал, что брат увлекается химией, а к сельской жизни безразличен. Он не упоминал ни о присутствии брата в усадьбе, ни о его безответной любви. Приходится заключить, что организатором убийства может быть только господия Володкович.

— Отец! — вскрикнул Шульман. — Нет, это невозможно.

— Отчего же невозможно. Северин пришел за деньгами около семи. Все собрались в гостиной, выпили на посошок, расцеловались, но провожали Северина лишь Володкович и Томаш. Когда раздался выстрел, Володкович принимал наши комплименты за изысканный стол. Но кому могло прийти в голову, что он убил сына еще до нашего приезда. Мы были убеждены, что Северин застрелился по слабости духа. Михал, Людвиг видели причину в прижимистости отца, а исправнику безразлично все, кроме взяток. А сейчас припомните поведение господина Володковича. Зная, что в десять часов мы услышим пистолетный выстрел, а в половине одиннадцатого помчимся в беседку, от тщательно готовил нас к восприятию самоубийства. Вспомните: «отказала, негодная», «сын терзается», «пошел на

дальнюю прогулку», ему поставлен прибор — вдруг пересилит страдание и спустится. Кто, кроме Володковича, мог отдать это распоряжение? Исправник расценивал слова Володковича, как болтовню для наших ушей, и подыгрывал, Потом был выстрел, потом мы увидели поверженного Северина и согласились — да, самоубийство. И подписали свидетельство.

Убийство, я полагаю, происходило следующим образом. Господин Володкович проводил Северина до кустов и здесь, на глазах у Томаша, ударил в затылок чем-то тяжелым, может, рукоятью пистолета. Затем Северина заволокли в сарай — сарайчик там есть, лебяжий корм держат — и добили. Около десяти часов Томаш отнес тело Северина в беседку, выстрелил ему в грудь, вложил в руки пистолет и поспешил в дом. Услышав выстрел, господин Володкович послал слугу звать Томаша и уже Томаша направил узнать причину стрельбы. Почему его? Почему не другого? А потому, что другие слуги могли не догадаться заглянуть в беседку. Они вообще не стали бы бегать по аллеям, рискуя наткнуться на стрелка. Томаш, выдержав где-нибудь под деревом назначенное время, прибежал со словами, которые выдают его с головой. Он сказал, что Северин стрелял себе в грудь. За это господин Володкович ему заплатил. Сколько — не знаю. Он несколько раз говорил о тысяче рублей. Возможно, тысяча досталась Томашу, чтобы получил удовлетворение. Что было Томашу жалеть Северина, если тот родному отцу стал поперек дороги. Для Томаша господин Володкович словно государь: у него на службе состоя, Томаш может сбить капитал, выйти в

хозяйчики. А отнимут имение — и Томашу беда: кому он нужен, иди трудись, как простой мужик.

— Ну хорошо, допустим, Томаш выстрелил в беседке. А кто стрелял в меня? И зачем? — спросил лекарь.

— Вас ранили, — поправил я, — но стреляли по мне. Придумал стрелять господин Володкович. Он не знал, как я решу распорядиться тайной: сообщу ли всем офицерам? напишу ли донос? потребую ли назад свидетельство? Его утешала надежда, что я, подобно Лужину, заинтересован получить взятку — ведь утром я допытывался о судьбе тысячи рублей. К его радости, Красинский вызвал меня на дуэль, а я согласился драться. Володкович рассудил так: будет хорошо, если Красинский зарубит меня, плохо, если я зарублю Красинского, но еще хуже, если он меня легко ранит. Тогда я могу отомстить доносом. И он послал Томаша к месту дуэли, но Томаш промахнулся.

— Хорошенький промах! — обиделся Шульман. — Уж и не знаю, что вы считаете попаданием. Наповал, что ли, должны были меня уложить?

— Ах, Яков Лаврентьевич, простите мне, но вы не дослушали последних слов: Томаш промахнулся, и дело осложнилось вашим ранением. Чтобы остановить следствие, господин Володкович устами Лужина предложил мне взятку. Я отказался и теперь думаю, каким манером можно разоблачить преступников. Не наденет же Володкович кандалы по своей воле и не пойдет в Нерчинск: «Здравствуйте, меня штабс-капитан Степанов прислал. Сгноите меня».

— Странный вы человек, — сказал Шульман. — Я понимаю, душа ваша болит, вы вложили усилия. Но зачем вам это? Да вы и не знаете, кто убил. Чистые домыслы. Вы хоть с Томашем поговорили? Чувствую, что нет.

— Хотел, но только я появился в усадьбе, как его куда-то выслали. У меня ощущение, Яков Лаврентьевич, что господин Володкович Томаша убьет. Зачем ему вечно бояться единственного свидетеля: вдруг Томаш шантажировать будет, или проболтается в корчме, или не выдержит пристрастного допроса. Угробит он Томаша, причем в ближайшее время.

— Послушал я вас, послушайте вы меня, — сказал Шульман. — Соглашаюсь, что Томаш мог быть убийцей Северина, соблазнившись деньгами. Но при чем здесь господин Володкович? Финт с самоубийством мог и сам Томаш сообразить. Нагнал Северина в кустах и оглушил. А в час ужина, действительно, отнес его в беседку и стрелял. Что касается взятки, то Володкович предлагал вам взятки в связи с мятежным прошлым своего старшего. Он хотел, чтобы вы молчали именно об этом, и его нетрудно понять. Остается одно белое пятно — выстрел в лесу, жертвой которого должны были стать вы, а стал я. Но почему обязательно Томаш и господин Володкович? Почему не Михал? Почему нельзя думать, что Людвиг попросила кого-нибудь защитить жениха? А как было на самом деле, остается только гадать. У вас нет фактов и свидетелей, а без них и последний дурак не сознается.

— У меня есть одна идея, — сказал я. — Ни Володкович, ни Томаш не знали, где ожидают Северина его приятели. Если

допустить, что в десять часов они пришли в усадьбу и видели, как Томаш тащил кого-то из сарая в беседку, то эконома можно напугать и добиться признания. Или, положим, кто-то заметил Томаша в лесу после выстрела. Я переодену пару солдат, научу, что говорить, и разыграю фарс. Авось удастся.

— Но зачем, зачем? — запротестовал Шульман. — Вообразите, в какой конфуз можно попасть. Не вижу смысла. Я жив, вы целы, Красинский вами наказан, двое мятежников вами спасены. Достаточно...

Я слушал Шульмана с тягостью. Совет безразлично воспринять злодейское дело меня удручал. Пожалуй, я хотел от Шульмана даже не помощи, я ждал благословения на ответный удар. Но он в эти часы исповедовал покой.

— Убедили! — солгал я. — Пусть бог им судья. Остаюсь на весь вечер.

Но подобно иезуитам, правило которых позволяет считать ложь святой, если мысленно сказать правду, я сказал про себя: «Остаюсь, пока не истечет время поездки Томаша».

Шульман, освобожденный моим согласием от всякой ответственности, запалился, как это всегда бывает с посторонними, пустым, но неистощимым любопытством. Почему Лужин на Шведском холме удовлетворился двумя мятежниками? Как господин Володкович узнал о вызове и месте дуэли? Какую цель он преследовал, высказывая сомнения в самоубийстве Северина? Я объяснял.

— Да, это реально, — отвечал он. — Вы правы, вы правы. У вас чутье, Петр Петрович. Теперь я знаю, где вам

предназначено проявить себя.

— Только не говорите, что в сыске, — сказал я. Отвечая на его вопросы, я уверялся, что догадки мои близки к правде, и одновременно осознавал прочность позиций господина Володковича. Мне воображался суд, господин Володкович под стражей, его последняя речь. «Тяжело было мне, отцу, — говорил он, — решиться на такой поступок, но мною двигал гнев, руководила преданность престолу. Все меры были испробованы: уговоры, отцовские просьбы, угроза проклятия — ничто не помогло. Я молчал, да, я стыдился. Но когда дерзость перешла пределы мыслимого, когда сын мой появился с требованием средств для продолжения безумного мятежа, мое сердце окаменело — передо мною был враг, враг нашего государя, наших святынь. Я виновен. Но поймите меня, господа. Я не хотел, чтобы грех старшего был перенесен на младших детей. Я породил изменника, сказал я себе, я его и убью». После этих слов из знаменитой повести Гоголя господину Володковичу следует мягкий приговор, потом государь, войдя в переживания несчастного отца, находит поступок похвальным и милует полной свободой.

Но, вопреки невеселым предвидениям, я решил взять Томаша в оборот непременно. Мне было важно выйти победителем в той умственной и нравственной войне, которая велась между мною и помещиком Володковичем. Я постановил, что экземпляр рукописного признания Томаша вручу дворянскому предводителю под расписку. А уж какие меры примет дворянство — придет ли с поздравлениями или

постарается отнять имение — меня не касается.

Просидев возле Шульмана до одиннадцатого часа, до той минуты, когда вино погрузило его в сладкий сон, я отправился исполнять свой план.

Час спустя я и со мной отряд из восьми человек галопом вошли в усадьбу. Двор был пуст, дом тих, только в гостиной светили свечи. На топот и ржание выбежал из дома слуга.

— Эй, братец, где Томаша найти? — спросил я.

— Во флигеле, во флигеле он, — отвечал слуга и добавил странно: — Там и все.

Мы спешили и пошли к флигелю, где жил Томаш. Здесь, у входа, стояли десятка полтора людей, в лунном свете трудно различимых.

— А-а, господин Степанов, — послышался голос Лужина, и он пошел навстречу. — Хорошо, что вы приехали, а то я как раз собирался вашему командиру сообщить.

— Что сообщить? — спросил я.

— О мятежнике беглом, — ответил исправник. — Ведь совсем разбушевался. Днем вашего человека вывел из строя, вечером убил слугу господина Володковича...

Перед глазами моими все исчезло, лишь черное пятно шевелилось впереди. Я пришел в себя от прикосновения руки Лужина. Он держал меня за локоть и удивленно говорил: «Что с вами, господин штабс-капитан?»

— Сволочи! — выдохнул я.

— Да, головорезы, — сказал Лужин. — Отпетые. Невинного человека. В уме не укладывается. Возвращался

домой — жена ждет, семья, а его на дороге двумя выстрелами...
Версты не доехал до дома... Полчаса назад мужики привезли...
Лежал на обочине, истек кровью.

Вдруг возле нас оказался Володкович, и он говорил:

— Вот, господин штабс-капитан, новая беда на наш дом.
Бедный Томаш! Бедные дети, трое детей осиротели...

— Ваш долг позаботиться, — сказал исправник. — Зная
вашу доброту, я уверен...

— Разумеется, — ответил Володкович. — Их судьбы мы
устроим.

Я повернулся и пошел прочь.

XXXIII

После трех месяцев пребывания в усмиренном крае
батарея была возвращена в казармы, и я получил возможность
подать в отставку, что сделал немедленно.

Не стану описывать тот приятный день, когда я
приступил к обязанностям секретаря у этнографа Романова.
Наконец-то наклонности мои нашли применение, а работа над
материалом, собираемым в летних экспедициях, дала сознание
полезности своего дела, сознание, которого со времени
обороны Севастополя я не имел.

Минувшим летом маршрут нашей экспедиции лежал по
литовским и белорусским уездам. Оказавшись в Слониме, я не
удержался махнуть за пятьдесят верст в сторону, чтобы
увидеть... не знаю даже что. Просто сердце позвало меня туда,
где произошли описанные выше события.

Кому приходилось навещать места, памятные необычным происшествием, поймет мое желание увидеть живых участников тех, уже далеких дней. Естественно, это желание привело меня к избе мельника. На пороге, где некогда Федор, покуривая трубочку, дивился множеству звезд, сейчас сидела старуха. Меня кольнуло недоброе предчувствие. И верно, на вопрос, где найти хозяина, что жил здесь раньше, старуха отвечала:

— Уже не найти. Умер, вот три года, как его нет.

— А сын его где, не знаете?

— Не слышала, про сына люди ничего не говорили. Один жил.

Умер и старый поп, в доме которого квартировал Оноприенко.

Потом я поехал к Шведскому холму. Вспомнились мне цепь солдат, щербатый Мирон, исправник Лужин, убитый им молодой мятежник. Могилу его я не без труда различил в высокой траве. Ноги мои словно приросли к земле, и долго стоял я над могилой, стыдясь и раскаиваясь, что не сумел охранить от гибели юную жизнь.

Следуя зову своей грусти, я отправился на просеку. Здесь ничто не изменилось. Крест, каким был прежде, таким стоял и сейчас. Те же самые, показалось мне, лесные птички высвистывали прежние свои трели. Тот же легкий шум слышался в кронах, те же шишки, которыми играл перед дуэлью Красинский, лежали в траве. «Да было ль все то, что я помню? — спрашивал я себя. — Звенели ль тут наши клинки?»

Звучал ли выстрел? Стоял ли тут мой друг Шульман? По этой ли дороге Орлик носил меня в усадьбу Володковичей?»

А что старый убийца, подумал я, топчет еще землю или взят уже в ад?

Я сел в бричку и скоро подъезжал к корчме. У ворот меня встречал в приветливой позе корчмарь, но, увы, это не был мой знакомец.

Я поинтересовался, жив ли его предшественник.

— Жив? — переспросил корчмарь. — Конечно, жив. Почему бы ему не жить. О, он теперь в местечке.

— Слава богу! — сказал я. — А был тут исправник Лужин. Не слышали о таком?

— Не только слышал, — отвечал корчмарь, — но и видел собственными глазами два дня назад, и вижу каждый месяц.

Наступил черед спросить о жизни Володковича, но тут из леса вынеслись один за другим два экипажа и стали приближаться.

Корчмарь поставил козырьком руку, взгляделся и выдвинулся вперед. Скоро коляски прокатили мимо. Велико было мое изумление, когда я разглядел в первой Николая Красинского с маленьким мальчиком на руках, а возле него молодую даму, в которой узналась мне Людвига. Во второй ехал Михал с незнакомой мне девушкой

Корчмарь, хоть путешественники и не взглянули на него, счел должным низко поклониться.

— Кто ж это, что вы кланяетесь? — спросил я.

— О! — воскликнул корчмарь. — Володковичи.

— А как сам господин Володкович? — не сдержал я любопытства.

Корчмарь посмотрел на меня с суеверным удивлением.

— Вы не знаете? Так он ведь уже не живет, — последовал неожиданный ответ. — Что, пан, ничего не слышал?

— Совершенно. Я давно не был в здешних краях.

— О, это история. Это очень непростая тяжелая история, — сказал корчмарь. — Он не просто умер, как положено умирать всем. Он мог бы еще жить сто лет. Но он... — корчмарь перешел на таинственный шепот, — повесился.

Видимо, смесь недоумения, неверия и невольного испуга, прочитанные на моем лице, вполне удовлетворили корчмаря, потому что он продолжал с большой охотой:

— Да, взял веревку и повесился. В саду. У него там были пруд и сад. Я сам не видал. Но так говорили мужики. Привязал веревку к дереву и... Понимаете, да?

— По какой же причине?

— Никто, никто не знает. Мужики говорят — спятил. Но откуда им знать...

Я не нашелся что ответить. Мысли мои разбежались. Неужто проросло в Володковиче ощущение вины, и замучило, и надоела ему жизнь? Или не слуга Томаш, а сам он застрелил своего сына, обуянный страхом, и не смог жить, нося в душе такой грех? Но не хотелось мне разгадывать эту загадку. Я сел в пролетку и поехал прочь, чувствуя на сердце горечь воскрешенной печали.

¹ Имеется в виду артиллерийский парк, т.е. место стоянки орудийных, лазаретных, провиантских и других повозок.

² Кавалергардия была учреждена Петром I в 1724 году для придания большей торжественности церемонии возложения императорской короны на супругу Екатерину. Кавалергардов было 64 — все дворяне, их капитаном стал сам Петр. По его смерти капитаном кавалергардов была Екатерина I, капитан-поручиком — Меншиков. Позже шефами кавалергардского корпуса являлись фавориты Екатерины II — Орлов и Потемкин. Кавалергардский полк учредил император Павел в 1799 году.

Офицерский состав полка формировался исключительно из знатнейших фамилий. Право нести почетную стражу у трона дополнялось для кавалергардов и существенными льготами: например, капитан-кавалергард приравнивался по чину к полковнику других полков; при участии в боевых действиях офицеры-кавалергарды представлялись к орденам за мужество, какое офицерам прочих полков приносило лишь благодарность. Кавалергардский полк редко посылался для участия в военных кампаниях, офицеры его имели свободный ход в Зимний дворец, им малого труда стоила военная карьера. Все это, вместе взятое, вызывало зависть и, естественно, неприязнь со стороны офицеров иных полков. Поэтому легко понять, почему суждение господина Володковича доставило удовольствие его

слушателям-артиллеристам.

³Общий праздник гвардейской артиллерии был приурочен к церковному празднеству — Преображению господню, который отмечался 6 августа. Помимо того, каждая батарея избирала себе в заступники кого-нибудь из святых и в день, отведенный ему в церковном месяцеслове, праздновала свой праздник. Судя по дате, которую называет в свидетельстве штабс-капитан Степанов, их батарея считала своей заступницей Деву Марию — Богородицу.

⁴ В данном случае — торжественное построение по поводу батарейного праздника.

⁵ Дворянским полком называлось офицерское училище, принимавшее в воспитанники детей, в основном из бедных дворянских семей. Судя по тексту Степанов закончил его в 1854 году и был направлен либо в Дунайскую армию, которая вела бои против турок в Румынии, либо прямо в Севастополь.

При выпуске лучшие, но со средствами для экипировки, посылались в кавалерийские полки, лучшие, но безденежные — в артиллерию, прочие — в пехоту и саперные батальоны, малоспособные направлялись в батальоны внутренней стражи.

⁶ Сведения, высказываемые капитаном Степановым, позволяют предположить, что Шульман после двух курсов Московского университета поступил в Военно-медицинскую

академию стипендиатом по военному ведомству, т. е. обучение его оплачивала казна. За это стипендиат был обязан отработать по направлению по полтора года за каждый курс обучения в академии.

⁷ Скорее всего Степанов подразумевает французского просветителя XVIII века Жана Мелье, который всю жизнь прожил неприметным деревенским священником и взгляды которого, по тому времени передовые, стали известны после его кончины по рукописному труду «Завещание», разошедшемуся в копиях, в адаптации опубликованному Вольтером.

⁸ На варшавского намесника А. Лидерса совершил покушение Андрей Потебня — руководитель революционной организации русских офицеров. Во время восстания Потебня погиб в бою. В Великого князя Константина стрелял не военнослужащий (тут Степанов ошибается), а варшавский ремесленник Людвик Ярошннский.

⁹ Этот вопрос капитана Степанова показывает, что он по незнанию придерживался правительственного объяснения состава повстанцев, по которому восстание носило сословный характер — «шляхетско-ксендзовский мятеж», как писали в официальных изданиях. В действительности крестьяне участвовали в восстании широко; в некоторых губерниях они вместе с однодворцами составляли треть повстанческих сил.

- 10 Пикюр — укол.
- 11 Парад — удар защиты.
- 12 Флешатака — стремительная атака броском.
- 13 Вольт — уклонение телом от удара противника с
одновременным нападением оружием.
- 14 Штоссы — удары нападения.
- 15 Прим — прием защиты левого бока.
- 16 Фланконада — боковое нападение; удар под руку
противника.
- 17 Батман — удар по оружию с последующим ударом по
туловищу.